



**Валентин
Распутин**

НА РОДИНЕ

рассказы и очерки

Валентин Распутин

На родине. Рассказы и очерки

«Алгоритм»

2015

УДК 82-32
ББК 84

Распутин В. Г.

На родине. Рассказы и очерки / В. Г. Распутин — «Алгоритм»,
2015

ISBN 978-5-906798-13-8

Валентина Распутина уже при жизни называли выдающимся писателем и классиком русской литературы. Его произведения пронизаны болью за судьбу народа и родной земли, они наделяют читателя очистительным чувством сострадания, без которого немислим русский человек. Таким было его видение жизни, такой завет он оставил нам в наследство: любить свою землю и свой народ, быть нетерпимыми к тем, кто лишает людей священной памяти о прошлом. Эта книга, составлена самим Валентином Григорьевичем из его рассказов, очерков и статей. Она посвящена любви всей его жизни – родному сибирскому краю, воспетым им Байкалу и Ангаре. Данная книга повествует о неразрывной связи человека со своей малой Родиной, о том, как важно сохранять эту связь в современном мире, какой надежной защитой она может стать от его жестокости и равнодушия.

УДК 82-32
ББК 84

ISBN 978-5-906798-13-8

© Распутин В. Г., 2015
© Алгоритм, 2015

Содержание

Сказание в десяти неравных частях	6
Вниз и вверх по течению	8
Пожар	36
1	36
2	38
3	39
4	42
5	44
6	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Валентин Распутин

На родине. Рассказы и очерки

© Распутин В. Г., 2015

© ООО «ТД Алгоритм», 2015

Сказание в десяти неравных частях

Книга эта – своего рода «история болезни» моего родного края, рожденного и дотоле пребывавшего в чертах суровых и прекрасных, овеванного легендами и воспетого песнями. Кто не знает Байкала и кто не знает его красавицу-дочь Ангара, из всех сибирских рек царственно выделявшейся своим высоким благородным происхождением?! Все сибирские реки, даже самые могучие, такие, как Обь, Енисей, Лена, начинаются с малого – с ручейка из болотца, тающего ледника или горных наплесков – одна Ангара величаво и сказочно выливается из байкальской пучины в широких берегах и немалых глубинах и почти через две тысячи километров принимает в себя Енисей как меньшого брата и по справедливости должна бы оставаться со своим именем до самого океана.

Но что считается: не та теперь Ангара, не тот и Енисей. Ангара и в собственном течении потеряла свое имя, которое, как эхо, звучит болезненным воспоминанием; мало того – она и течение потеряла и то вспученная перед чередой плотин, то взбученная сразу за ними, едва жива, и ничего из себя, кроме тягловой силы электростанций, не представляет. Четыре бетонные узды накинута на нее – не взыграть, не пошевелиться. Но и на Енисее две узды, и он, как старик, только кряхтит да стонет. Ни Енисей не вливается в Ангару, ни Ангара в Енисей, а, запряженные в пару, измученные и забитые, тянут они понуро свой воз, тянут и тянут без надежды когда-нибудь освободиться.

Здесь, в этой книге, «история болезни» представлена малыми литературными формами – рассказами, очерками и статьями. Повесть «Пожар» тоже может сойти за рассказ, поначалу я ее в рассказ и определял. А по горячности повествования, по накалу происходящих событий, по художественной непритязательности она близка к публицистике. Я шел на это сознательно, ибо никакая иная интонация сюда бы не годилась. Публицистичен или нет сам отчаянный крик: горим! тонем! убивают! – или его можно выговорить красиво и художественно? В момент беды, за мгновение от гибели – получится или нет красиво? Это еще за пятнадцать, без малого, лет до «Пожара» в очерке «Вниз и вверх по течению» можно было отдаться художественному чувству еще живого и спокойного воспоминания о недавнем – о том, какой еще несколько лет назад была здесь Ангара по островам и берегам, в каком убранстве сияли тут краски, какой непритязательный и дружный жил народ. Верилось тогда, верилось еще и позже, когда писалось «Прощание с Матёрой», что, несмотря на все безвозвратные потери, жизнь тут, по самому закону жизни, должна укорениться на новых почвах и устроиться, что плач мой по Матёре покажется когда-нибудь, после целения, только болью моего времени и моего поколения. И это спустя пятнадцать лет после «Пожара», а после «Прощания с Матёрой» спустя четверть века, можно будет в рассказе «На родине» (рассказ-быль, ничего вымышленного в нем нет) отдаться бесстрастному созерцанию втопанной в вечность картины разрушения. Повторю, можно было сохранять надежду до того и вернуться с надорванным сердцем к спокойствию, сравнимому с безразличием, после того, но тогда, на сгибе этих равноудаленных временных «плеч», в пору «Пожара», ничего не оставалось, как только кричать от боли и страха при виде нарастающего, принявшего необратимый ход, калечения земли и человека.

Иначе и быть не могло, одно с другим связано неразрывно. Разрушенная земля перестает питать человека, не в силах дать ему в том числе и духовное питание; разрушенный человек перестает ощущать родительство земли и равнодушен к ней. И это не только на моей «малой родине» – это везде.

Прежде земля была единственной кормилицей человека, за века и тысячелетия у него выработалось к ней поклонение, выражаемое и чувствами, и словами, и физической близостью. Человек обращался к своей кормилице и с просьбами, и с планами, и с благодарностью, при-

ласкивал ее и ощущал как собственную плоть. Никого это «язычество» не удивляло и ничему не мешало.

И вот теперь отыскивали новую кормилицу – карманную. За деньги можно привезти с иных земель и иных материков все что угодно. И везут, и трясут небывалым ассортиментом, и заманивают, и сдирают с кожи земли леса, и выскребают закрома, и убивают красоту. И разывают человека с родной землей. Он еще «тербит» ее, добывая пропитание, что-то еще копает, рубит, дергает, но как бы остаточные плоды остаточными усилиями. И нет больше между человеком и землей, как прежде, ни близости, ни понимания.

Нет былой мистически-органической связи в совместном бытии и совместном звучании в каждом акте этого бытия.

На родине моей не однажды звучали уже во времена перестроечной реформации призывы вывезти отсюда, с опустошенной земли, оставшийся народ и забыть о ней. Чего проще! Еще полвека назад люди здесь, сидя на таежном и речном богатстве, были бедны лишь потому, что не дошла тогда сюда хозяйская государева рука. Затем эта рука шла мимо и остановила Ангару, снесла тайгу. Остался местный народ ни с чем. Он остался ни с чем, а Ангара до сих пор крутит турбины, вырабатывает электроэнергию, которая продается за границу, и плавит алюминий, за который дают валюту.

Человек – это, конечно, давно не звучит гордо, но надо ли доводить дело до того, чтобы это звучало низко?

2004

Вниз и вверх по течению Очерк одной поездки

*По родимой по сторонке
Сердце поет, поет, поет...*

Из песни

Слава Богу, все кончилось. Кончилась эта бестолковая и изнурительная беготня по магазинам, когда и сам не знаешь, что ищешь, лишь бы что-нибудь купить, не забыть никого подарком и не обделить гостинцем; это торопливое сваливание с себя всяких разных дел, больших и маленьких, скопившихся, как всегда, на последний день, и надо срочно бежать туда и сюда, поговорить с тем и с этим, взять одно и отдать другое; эти суматошные, с постоянной оглядкой – не забыть бы что-нибудь – сборы. Кончилось все разом, как обрубило, едва лишь Виктор вошел в каюту и поставил чемодан, и теперь впереди предстояло одно легкое и приятное безделье, заранее волнуемое своей праздничностью и свободой.

Погода для мая выдалась на удивление жаркая, весь день пекло, а теперь, перед вечером, жара еще более сгустилась, потяжелела. В каюте к тому же пахло краской, воздух был затхлый и горький. Виктор тут же, как вошел, до конца, до упора опустил раму стекла в окне и высунулся наружу. Его обдало теплым и слабым, но все же ветерком, от воды едва уловимо потянуло свежестью. До пяти часов, до отплытия, оставалось еще минут пятнадцать; посадка продолжалась, слышно было, как по сходням идут люди, но уже во всем чувствовалось близкое освобождение, уже начала подрагивать в нетерпении массивная белая туша теплохода, уже полусонный женский голос с пластинки, волнуя и дразня, повел прощальную дежурную песенку о том, что – «провожают пароходы совсем не так, как поезда».

Каюта была маленькой, но достаточно удобной и уютной: диван с высокой мягкой спинкой, у окна небольшой столик с намертво прикрученной к нему настольной лампой, у дверей шкаф для вещей и одежды и за тяжелой зеленой занавесью – раковина для умывания. Виктор впервые взял отдельную каюту и теперь с нетерпением ждал отплытия, чтобы в полную меру насладиться в ней своим одиночеством. Здесь он сам себе хозяин, сколько угодно будет валяться и читать, никому не мешая и ни от кого не завися, вечером поднимет в окне решетку и зажжет настольную лампу, утром отоспится до последнего, до усталости в голове, и выйдет на борт, под ветер.

Студентом он ездил в третьем классе, помещавшемся тогда внизу, в трюме, и эти поездки всякий раз были для него праздником, о котором он начинал мечтать еще с зимы и к которому готовился со всей возможной тщательностью: копил деньги, выкраивая рубли из тощенькой стипендии, нарочно оставлял нечитаной самую лучшую, по слухам среди своего брата студента, книгу, подправлял как мог свою амуницию. Здесь он с полным правом, обласканным и пригретым в мечтах за месяцы зубрежки, позволял себе наконец небольшое расточительство: шел в ресторан, выбирал столик у одного из широких, в полстены, окон и заказывал пиво. Это и была главная, самая волнующая часть праздника – сидеть, небрежно развалившись в кресле, потягивая холодное пиво и делая вид, что понимаешь в нем толк, и смотреть, смотреть без усталости в окно на ровное и неторопливое течение, в которое врывается пароход, на берега, на все то, что на них стоит и живет. Тогда еще не существовало этой песенки – «вода, вода, кругом вода», которую с выразительным бесстрашием продолжает сейчас тянуть все тот же полусонный голос, но вода и тогда завораживала ничуть не меньше, чем теперь, – завораживала, пьянила и влекла куда-то, вызывая смутное и глубокое беспокойство. Это было какое-

то необычное, необъяснимое, неземное состояние, когда, будоража душу, вдруг вспыхивали неожиданные желания, чудились необыкновенные подвиги или ни с того ни с сего приходило умиление собственной жизнью, где самым большим счастьем казалось – видеть, думать, запоминать.

Здесь же, на пароходе, у него случилась однажды любовь со студенткой из медицинского института, девочкой хорошенькой, но тоненькой до того, что невольно брало сомнение: каким образом ей удалось вместить в себя все, что положено иметь человеку? Она ехала не одна – с матерью. Виктор уже не помнил теперь, с чего, с какой случайности началось это знакомство, зато хорошо помнил, как всю ночь потом они прятались от ее матери, скрывались то на верхней палубе, то в корме, среди бочек и огромных катушек с тросами, то в трюме, на его скамье; как он укрывал ее от ветра своим пиджаком, как счастлив был, слушая ее торопливый и чепуховый шепот. Вот что творит с людьми «вода, вода, кругом вода». Все лето затем они гнали друг другу нетерпеливые и нежные письма, а встретившись осенью в городе, в стороне от воды, спокойно и без всякого сожаления разошлись.

Грянул наконец отчальный марш, и теплоход тут же легонько отвалился, отодвинулся от стенки. С берега и с борта закричали, замахали друг другу, слышались отдельные слова команды в машинное отделение, где-то тревожно и громко заплакал ребенок. Теплоход встал поперек реки и дал течению развернуть его вниз, по ходу. С берега он сейчас выглядел, наверно, очень красиво: белый, легкий и длинный, сияющий всей своей оснасткой. В нынешней навигации он шел только в первый, именованный рейс и был чисто убран, подкрашен и подлажен, матросы щеголяли в новенькой форме, молоденькие проводницы улыбались вежливыми и любопытными улыбками. Все это потом поистреплется, померкнет или покажется просто ненужным и лишним, но пока, если не придирааться, все было в лучшем виде. Если бы еще не пахло так сильно краской в каюте.

Теперь уже двинулись своим ходом. За бортом зашумела потревоженная вода, быстрее потянулся назад берег, в окно рванулся ветер. Дышать стало легче. Виктор поднялся с дивана и не спеша, принаравливая себя к праздной и ленивой жизни в дороге, начал устраиваться: достал из чемодана то, что могло здесь понадобиться, сходил к проводнице за постельным бельем. На него нашло ровное и приятное удовлетворение собой: вот он и едет, несмотря ни на что, все-таки едет... Можно пойти сейчас в ресторан и, усевшись, как когда-то, у окна, попросить пива. Правда, он уже отвык от пива, но, чтобы показать и самому себе, и кому-то еще, кто помнит его по прежним привычкам, что он все тот же человек, одну бутылочку выпить стоит.

Пять лет он не был дома, в своей деревне, долгих пять лет, которые сильно и изменили и усложнили его жизнь. За эти годы он повидал многие другие края, съездил даже за границу. Все это было хорошо, полезно и нужно ему; он возвращался обратно исполненным какого-то особого, внутреннего смысла; в него как бы вливалась свежая кровь, внося в привычное и размеренное существование чувства и остроту и новизну. Но до чего же все-таки уставал он в этих поездках! От начала и до конца там приходилось быть в постоянном напряжении: всегда что-то тревожило впереди, вынуждало подстегивать или, наоборот, удерживать себя, все время, боясь ошибиться, надо было делать выбор: то или это, одно или другое, туда или сюда. Даже редкие минуты расслабленности казались там покоем человека, подвешенного вверх ногами. И только дома (уже и не дома, надо говорить, а как-то по-другому, потому что у него своя семья в городе, из которого он сейчас выехал), и только в родной деревне, у отца с матерью, он знал, отдых его будет полным, абсолютным и неосязаемым; он пойдет туда, куда пойдет, станет делать то, что взбредет в голову, он окупится в эту жизнь, как в возвратившееся детство и долго будет оставаться там в счастливом забытии, не помня ничего ни о себе, ни о других и подчиняясь лишь самым простым и легким желаниям. Уже и теперь он чувствовал себя так

покойно и уютно, как давным-давно с ним не бывало, словно каждая клеточка, распутавшись из тугого клубка, наконец-то нашла в нем свое место.

Он все же решил заглянуть в ресторан, хоть и не знал, останется там или нет. Один столик у окна оказался свободным, словно специально для него, и он не посмел уйти. Раньше Виктор плавал на парокходах, это был теплоход, причем теплоход морского типа, не боящийся большой волны, но ресторан в нем, похоже, остался прежним, как бы перенесенным с парокхода в полной неприкосновенности, – то же полукруглое, покатое к бортам небольшое помещение в корме, с узкими, на две стороны, дверями, те же просторные окна, убранные желтыми шторами, и те же низкие и мягкие кресла в белых чехлах. Виктор мог бы побиться об заклад, что и меню здесь ничуть не изменилось, разве что в какой-нибудь малости. Он раскрыл карточку и улыбнулся. Конечно, все то же: щи, пустовато-кислый запах которых он помнил еще и теперь, яичница, бифштекс и рисовая каша. Но речную рыбу заменила морская, это он должен был предвидеть. Во всем остальном меню походило на высеченную раз и навсегда в камне надпись, свидетельство постоянства вкуса неизвестного снабженца.

Сидеть, развалиясь в кресле, со стаканом пива, оставляя его в руке, было и удобно и приятно. Где-то наверху неслышно и сильно работал вентилятор, гоня воздух, и по залу кругами ходил ветерок, шевелил на окнах легкие высокие шторы и осторожным, затухающим движением касался лица. С одной стороны за соседним столиком уже пошумливали за пивом компания мужиков, с другой – с молчаливой и несерьезной, как в игре, шутиливой сосредоточенностью ужинала семья: он и она с одинаково широкими и чистыми, почему-то похожими (уж не от совместной ли жизни?) лицами – молодыми и добрыми, и мальчик с девочкой примерно одного возраста, лет шести или семи. Ребятишки, не доставая до стола из кресел, ели стоя. Видимо, это и вызывало хитровато-внимательное и веселое настроение родителей: то и дело они переглядывались и улыбались. Наблюдая за ними, Виктор невесть с чего ощутил в себе непонятную ревность к этой небольшой, но уже полной семье, что-то, помимо любви и согласия, задевало и волновало его в ней – то ли похожесть и физическое равенство, которые сразу бросались в глаза, словно он и она специально были созданы друг для друга, как левая рука для правой, то ли осторожная, четная умеренность: мать, отец, сын, дочь – всего, что может быть, по разу, но все красиво, крепко, во славу человека, то ли что-то еще, сокрытое более глубоко и прочно. И потому, что он не мог найти объяснения своему чувству, беспокойство не проходило и мешало ему; оно не сразу забылось и после того, как за соседним столом отужинали и ушли.

А за окном, за неширокой полосой воды, все скользил и скользил берег, за кормой удивленно и неохотно вскипала вода и, подобравшись, катила на две стороны волны. Река позади, казалось, легонько раскачивалась то влево, то вправо; на ее поверхности далеко и долго, куда хватал взгляд, держалась после волн искрящаяся на солнце рябь, от которой больно и задорно было глазам; течение там словно бы слабело, а то и прекращалось совсем. Берег часто менялся: то низкий, ярко-зеленый, на свежей зелени пасутся коровы, то за поворотом сразу яр, наверху постройки, вниз, к воде и лодкам, ведут ступеньки, возле лодок прыгают, что-то кричат и машут руками ребятишки, возле домов, прикрываясь от солнца ладошками, стоят взрослые.

Виктор вырос на этой реке, каждый божий день пропадал на ней с утра до ночи, и большая часть его детских и уже не детских радостей была связана с ней. Никогда не забыть ему, как всякий раз боялся он пропустить ледоход; с каким восторгом и страхом, не помня себя, смотрел на дикую, безудержную силу, сталкивающую лед вниз, вздыбливая и кроша неповоротливые, отливающие глубокой синева глыбы; какой многоголосый и протяжный, со стоном и отчаяньем стоял вокруг гул.

Одно воспоминание, чуть ли не самое дальнее, было ярче других. Ему тогда исполнилось шесть лет, и не просто исполнилось, а исполнилось именно в тот день – 1 мая. Ледоход обычно тоже приходился на конец апреля – начало мая. Ему, мальчишке, мало было того, что его день рождения столь удачно совпал с праздником, ему еще хотелось, чтобы к этому дню обя-

зательно тронулся лед, – иначе не будет счастья. Откуда, из каких глубин и снов взялась в нем эта суеверная связь одного с другим, он, конечно, не знал; но только и до сих пор еще, правда, без прежней откровенности и заинтересованности, как бы в шутку, он продолжает следить, когда – до или после праздника – вскрылась река, улыбнется или нет ему нынче удача (вот и еще разница: счастье поменялось на удачу, с которой легче и безопасней обращаться – если и упустишь, не велика потеря; с возрастом он, кажется, приучает себя рисковать только тем, что недорого и стоит).

С раннего утра 1 мая он сидел на берегу, вглядываясь в посиневший, вспучившийся лед. Никогда еще не приходилось ему видеть первого, решающего толчка, который срывал лед с места, и теперь он ждал его с нетерпеливым и тяжелым вниманием, больше всего на свете боясь, что день кончится раньше. Где-то в деревне пели, ярко светило солнце, с низовий даже и не дул, а легонько плыл над рекой мягкий ровный ветерок, донося откуда-то свежий и прохладный, вербный запах только что освободившейся воды. Река беспокойно возилась, покачивалась, вздыхала; порой изнутри доходил глухой, утробный шум, затем раздавался быстрый и сильный, как выстрел, треск, и во льду вспыхивали трещины. Вот-вот все это должно было сорваться с места, закружиться, зашуметь, поплыть, но стояло. Держалось какими-то силами, цеплялось за что-то, упиралось, но никуда не двигалось. Весь день он прождал понапрасну, вечером, вконец бедного и измученного, его с трудом увели домой. Теперь все: никогда не кончится война, не придет с фронта отец, не полюбит его соседская девчонка Нинка. Жить дальше не имело никакого смысла.

Среди ночи он проснулся от неясного дальнего гула, который то затихал, то вдруг мучительно и тревожно возникал снова. В другой раз шестилетний мальчишка наверняка тут же спрятался бы от него с головой под одеяло и постарался скорей уснуть, но теперь последняя надежда заставила его пересилить страх и подняться с постели. Следуя какой-то посторонней властной силе, он ощупью добрался до двери, неслышно приоткрыл ее и выскользнул на улицу. И небо и земля были затянuty сплошной, крошечной теменью, сквозь которую ничто нигде не проступало, но дорогу к реке он знал и с закрытыми глазами. Смешно и неловко подпрыгивая, боясь налететь на забор, но еще больше боясь идти шагом, он бросился на берег.

Здесь было светлее. Ото льда поднималось слабое серое мерцание, и в нем он легко рассмотрел, что река как стояла, так и стоит. Ничего в ней с вечера не изменилось. Она даже как бы успокоилась, притихла, после долгих напрасных потуг на нее нашло безразличие. От ужаса, от непонимания того, что с ним происходит, почему он тут, а не дома, не в постели, маленький Витька оцепенел. Прибежав сюда, он уже не в состоянии был бежать обратно. От страха у него отнялись ноги.

Где-то далеко в тайге зарокотало, набрало силу и покатилося, покатилося прямо на деревню, грозя раздавить и смять ее, и, только чуть-чуть не докатившись, развалилось. Надвигалась гроза. То, что он принял за шум реки, было громом небесным, первым в ту весну, родившимся неожиданно и поначалу негромко. Вспыхнул и тут же погас короткий свет молнии, и снова направился гром, выпрямляясь в своем движении над рекой, и снова застрял неподалеку от деревни.

Небо теперь было могучее и страшное. По краям, сливаясь с землей, оно уходило в бесконечную темь, сверху нависало огромной беспокойной тяжестью. В нагромождении туч, двигаясь и меняясь, зловещей синевою пылали какие-то полосы и пятна. В промежутках между ударами грома, когда наступала тишина, с высоты доносился невнятный, едва уловимый шум – не то шуршание туч, не то приглушенный свист ветра. Внизу воздух был тревожно-неподвижен и пуст: без резких весенних запахов, без обычной ночной свежести – гроза успела высосать из него все.

Гром гулял уже над самой деревней. Он начинался неохотно, лениво, словно не зная, стоит или не стоит греметь, но, растравив себя ворчанием, вдруг делал мгновенный и яростный

прыжок в сторону и тяжело, натужно лопался, взрывался, разбрасывая вокруг множество гремящих осколков. Не успевал отшуметь один раскат, возникал другой. В ярком и мертвенном блеске молний избы в деревне казались прозрачными, и если за стенами ничего нельзя было увидеть, то лишь потому, что за ними ничего и не было, а лес – до жути белым и неживым, с узкими и длинными каменными стволами.

Втянув голову в плечи, мальчишка всхлипывал – судорожно, беспомощно и уже беспамятно. Он был на ногах, но давно потерял ощущение земли под собой, словно его, как пушинку, подхватило и унесло куда-то и никто никогда не отыщет даже и следа этого маленького несчастного человечка.

Гроза, добиваясь дождя, все накалялась и накалялась. Небо из совершенно черного, непроглядного стало темно-багровым и выделилось четче. Гром бил размеренно и зло, без той сдержанности и игривости, что были вначале, он взрывался сразу и, не ослабляя, гнал этот взрыв, покуда где-нибудь в другой стороне не вспыхивал новый. Все вокруг было заполнено только грохотом, подстегиваемым частыми взмахами молний, все сжималось и трепетало перед ним, а ему уже не хватало пространства, он задыхался от ярости... вот-вот должно было произойти что-то и совсем уж страшное.

И оно произошло. Молния хлестнула, как обычно, тонким, длинным росчерком, но не погасла, а вдруг, словно запутавшись, закружилась, заплясала и разошлась широким концом, обнажив жуткий голубой огонь. Бешеной, небывалой силы грохот сразу же охватил все небо, раздирая его на части, – оно треснуло и обвалилось.

Мальчишка закричал и упал, не смог устоять, но сразу же опять вскочил на ноги. Он услышал, хотя не в состоянии был ни слышать и ни видеть, каким-то чудом он услышал, как звук раздираемого неба, слабей и легче, но тот, тот самый звук повторился где-то неподалеку от него. В жутком и неожиданно-радостном предчувствии он вскинул голову и увидел, как, ломая лед, выносит середину реки. Ее только-только сорвало, ее полоса была совсем неширокой.

И сразу же упал дождь. Гроза стала быстро отходить, молния взблескивала лишь в одной стороне, на самом краю неба, туда же, совсем присмирив, переместился гром. Небо потемнело и притихло, из него сыпал дождь.

А мальчишка все плакал, не утирая слез, и все смотрел, смотрел на реку, на ее шумное праздничное освобождение, начавшееся ночью, среди грозы, подальше от людских глаз.

...Бог мой, неужели это было?! И было ли это так, как он запомнил, не приснилось ли это ему в чистых и ярких детских снах?

...Еще несло льдины, лед лежал и на берегах, а они, ребяташки, уже забрасывали в мутную зеленоватую воду переметы. Вскрывшаяся река была полной и нетерпеливо-быстрой; от ее открытого, свободного движения вокруг становилось сразу просторней и выше; в легком и звонком воздухе со свистом проносились стрижи, снижаясь и чиркая о воду белыми брюшками; звучала капель с нависших над каменишником тяжелых ледяных козырьков; весело и широко играло солнце. Было какое-то особое – чуткое и тайное счастье в том, чтобы, чуть приподняв нитку перемета над водой, слушать, как тукает рыба наживку; в волнующем ожидании замирало сердце, и весь огромный мир сходил в одну эту тонкую нитку, по которой передавались толчки.

Скоро река выправлялась, освободившись от всего лишнего, чужого, снесенного в нее с гор шальными весенними речками и ручьями; вода в ней становилась темно-голубой, прозрачной, так что далеко было видно дно; течение натягивалось, находило свою неторопливую, спокойно-быструю силу, которую могло сбить только долгое ненастье. Летом они всей семьей уплывали за реку на сенокос, брали там ягоды, потом грибы; Виктор выпрашивал себе у бакенщика два ближних к сенокосному наделу бакена, по вечерам зажигал их, по утрам гасил, научился не хуже мужиков подниматься в лодке на шесте, управляться с одноручным веслом. Ему доставляло неустанное, бесконечное удовольствие бывать на реке, заглядывать в ее жут-

кую заманчивую глубину, в сильный вал, испытывая свое счастье, сталкивать лодку и грести от берега, все дальше и дальше, взлетая и проваливаясь в волнах, а затем, удачно вернувшись, считать себя победителем и думать, что река после этого сразу стала спокойней.

В темные осенние ночи дедушка, теперь уже покойный, брал его с собой лучить. В носу лодки ярко и бойко горело смолье, дедушка, широко расставив ноги и терпеливо вглядываясь в воду, стоял подле огня с наготовленной острогой, а он, сидя в корме, бесшумно правил веслом. Река устало и глухо сносила их вниз; в тяжелом металлическом цвете воды слабо поблескивал опавший лист; лопались и меркли пузырьки; где-нибудь посреди реки невесть с чего в спокойную погоду долго держалась на одном месте длинная полоса зыби, мерцающая непонятым волнением, которая затем так же неожиданно, как и появлялась, исчезала. Было сыро и зябко, огонь лишь дразнил недостающим теплом, но было и тревожно-сладостно, необыкновенно на душе – от проплывающих в строгом молчании склоненных с берега кустов, от таинственных всплесков, возникающих то здесь, то там, от дальнего крика ночной птицы, от сказочной и предательской пляски огня, на который где-то мчится и никак не может остановиться ошалевшая от его сияния рыба.

Воспоминания, связанные с рекой, жили в нем отдельно от других, и жили теплой душевной печалью, возле которой он часто грелся и отдыхал, перед тем как двинуться дальше. Он понимал: их сберегло детство – все, что относится к первым впечатлениям, сохраняется надолго, может быть, навеки, но в том-то и дело, что из многого другое детство выделило именно их. Тайга не волновала и не пытала Виктора так, как река; тайга оставалась и должна была оставаться на месте, между тем как река могла исчезнуть, уплыть, кончиться, обнажив на память о себе голое каменистое русло, по которому будут бегать собаки. По утрам, боясь признаться в этом даже самому себе, он осторожно шел проверить, не случилось ли что-нибудь с рекой, и не понимал, почему это больше никого не тревожит, почему все спокойны, что река и завтра будет течь так же, как текла вчера и позавчера.

* * *

Он расплатился за пиво и вышел на борт. Большое закатное солнце было совсем низко и близко, так что казалось, будто оно не уйдет за гору, а сядет на берегу, и берег в ожидании этого первого, чудесного и опасного прикосновения замер. Его уже накрыла тень от горы, но краски были светлые, ясные и точные, в сплошной зелени листьев легко различались осина и береза, в яру сочно краснела глина. Второй, противоположный берег, залитый солнцем, пологий и пустой, лежал далеко и тоскливо. Похоже, там было болото, высокая темная трава росла неровно, пучками, нигде поблизости не маячила живая душа. Вскоре отошла куда-то вглубь и гора с левой, с западной стороны, и солнце сразу отодвинулось от реки и поднялось выше, стало меньше. По небу понесло дым.

Минут через пятнадцать объявили первую пристань. Теплоход подходил к городу, которого не так давно – Виктор в своих первых плаваниях еще захватил то время – не было здесь и в помине. Построили его быстро и, пока строили, писали и говорили о нем много: в глухой тайге, на голом месте и так далее, хотя по сибирским понятиям то, что лежит у дороги, да еще у железной, уже никакая не тайга. Затем появились другие, более громкие названия, и город было притих, но вскоре прославился снова, на этот раз своими демографическими показателями: выяснилось, что здесь, если годочки старого и малого сложить вместе, а затем разделить на число жителей, поселился самый молодой народ в стране, который в расчете на каждую тысячу душ больше всех играл свадеб, после чего, естественно, больше всех рожал детей. Но с тех пор город отстал, кажется, и по этой части.

С реки его не было видно, он стоял в стороне, торчали лишь его высокие разномастные трубы. Но свой причал он на всякий случай имел. Пассажиры обычно пользовались им

на обратном пути. Течение здесь сильное, и теплоход, поднимаясь вверх, шлепает отсюда до конечной остановки добрых восемь часов, между тем как дорога на электричке занимает всего час. Поэтому наиболее нетерпеливые выгружаются здесь и едут на вокзал. Так было прежде, так, видимо, бывает и теперь. Теплоход наполовину пустеет; лишь на скамьях, обложившись узлами, с бесконечным терпением на лицах сидят старушки да по верхней палубе, не находя себе перед прибытием места, бродят семейные с детьми. Становится тихо и сиротливо: команда занята уборкой, оставшиеся пассажиры почему-то говорят вполголоса, смотрят вокруг задумчиво и печально, а то и вовсе уединяются, надолго прилипают к перилам, уходят в себя. Берега, кажется, не сдвигаются, не сползают вниз, лишь чуть разворачиваются, шевелятся, когда теплоход в поисках наиболее легкого и способного пути ползет то к одному, то к другому из них; но там и там одинаково яростно и шумно бьет о нос теплохода сильная встречная струя, высоко вверх поднимая крупные и острые брызги. Все это Виктору предстояло снова увидеть и испытать на обратном пути, но прежде он, помнится, любил эти последние длинные и томительные часы, потому что ехал из дому и никуда не торопился; нетерпение и пустая суетливость других, кто то и дело выбегал смотреть, сколько еще осталось плыть, заставляли его недоумевать: неужели, думал он, они не понимают, что в этом ожидании надо исходить не из расстояния и не из скорости, а из времени, указанного в расписании, которое осуществится именно в свой срок, как бы быстро ни двигался пароход. Знай, что ты приедешь ровно в девять часов вечера, ни минутой раньше, и до тех пор спокойно спи или читай книжку, а не изводишь и не дергайся зря – мимо не провезут.

Словно напоминая, чем еще совсем недавно был знаменит этот город, на берегу теплоход ждала свадьба. Она топталась возле маленького автобуса, на котором, видимо, и приехала сюда прямо от стола. Устало и нервно взрыдывала гармошка, но под нее уже не пели и не плясали, под нее лишь галдели, поглядывая на подчаливающий теплоход. Как только он приткнулся к дебаркадеру и застыл, свадьба пошла к сходом и расположилась за деревянным бортиком. Парни уговаривали кого-то не ехать, погулять еще день или два, а кого уговаривают, в толпе было не рассмотреть. Виктору почему-то захотелось, чтобы поехали жених с невестой, чтобы это они решили устроить себе небольшое свадебное путешествие, но скоро он понял, что они тоже кого-то лишь провожают. Жаль, подумал он, очень жаль. Вместе с ними на теплоходе поселилась бы чистая и явная тайна, вокруг которой все обретает прекрасный и загадочный смысл. Приходят воспоминания и мечты о любви и счастье и приходит грусть о том, что могло свершиться и удался, но не свершилось и не удалось; больно и горько вздрагивает сердце, уязвленное признанием, что когда-то, в лучшие дни своей молодости, оно билось неудачно; и в слабом и покорном обещании чего-то неведомого просыпается душа. Неужели они не могли догадаться взять билеты в каюту и поехать куда глаза глядят, туда и обратно, вниз и вверх по течению, подальше от шумного и пьяного застолья, от друзей и родственников, от выкриков и звона посуды. Здесь бы им никто не помешал, никто не потревожил бы их одиночества, и люди смотрели бы на них с завистью и надеждой; люди завидовали бы их неопытности и неведенью, тому, что они не знают и не хотят знать, что с ними будет завтра, сколько им любить друг друга, кого родить, когда расставаться и встречаться, тому, что они околдованы и одурманены первой близостью, важней которой для них сейчас ничего нет. Они были бы на теплоходе главными пассажирами, и теплоход плыл бы куда-то только ради них, и лишь потому, что на нем оставались еще свободные места, он бы прихватил по пути и всех остальных.

Виктор внимательно всматривался в лица жениха и невесты, пытаясь найти в них что-то особенное, какое-то нечаянное и удивленное признание, стыдливое откровение, но видел одну усталость да в цепких прищуренных глазах девушки холодный вызов: что вы на меня уставились? Судя по всему, свадьба продолжалась уже не первый день, но молодые еще не скинули с себя свадебные наряды: он был в черном, к этому времени изрядно помятом костюме, она – в белом, как прежде говорили, подвенечном платье, но узком и коротком, много выше

тяжелых крепких коленок с подрагивающими чашечками, с головы широко и легко свисала на плечи узорчатая фата. Девушка держала парня за руку, и на губах ее забыто и слабо билась улыбка. Вокруг них снова разливали вино и чокались, потом поднесли и им – девушка, не дожидаясь жениха, запрокинула голову, открыв длинную красивую шею, и одним махом, по-мужски выпила.

Рядом с Виктором кто-то удивленно присвистнул. Он обернулся – почти вся палуба была забита людьми, наблюдавшими за свадьбой с вниманием и любопытством.

Справа от Виктора, свешиваясь через борт, стоял парень с веселым, горяче-розовым после ресторана, круглым лицом, на котором открытый, подрагивающий рот выдавал с трудом сдерживаемое желание вмешаться. Когда девушка столь решительно опрокинула рюмку, парень не утерпел.

– Ну, да-е-е-от!

Девушка обняла жениха за шею и потянулась к нему, чтобы сказать что-то на ухо, но движение это, понятое неверно, обмануло и разочаровало пассажиров с теплохода.

– Горько! – негромко подбросил кто-то сзади.

– Горька-а-а! – обрадованно, во все свое могучее горлышко, приседая, взревел парень рядом с Виктором и оглушил его, в ушах у Виктора жалобно и тонко запели какие-то струночки. – А вы что?! – Парень обернулся к народу и требовательно вскинул вверх руки. – А ну! Три-четыре! Горька-а!

На этот раз ему подтянуло несколько голосов. Остальные, радуясь приключению, смеялись. На крики с той и другой стороны, с кормы и носа теплохода, торопились люди. Любопытные, возбужденные лица выглядывали из кают. Наверху, над головой Виктора, слышались быстрые шаги и тут же раздался короткий и густой – одобрителный гудок теплохода.

– Три-четыре! – командовал парень. – Три-четыре!

– Горька-а! – дружно и мощно отзывалась палуба. – Горь-ка!

Свадьба растерялась. Жених взял девушку за руку, чтобы увести ее, но она вдруг быстро и решительно, с неожиданной силой и страстью притянула голову жениха к себе и впиалась в его губы долгим и откровенным поцелуем.

Наверху замерли. Чей-то сорвавшийся и словно бы жалобный смешок тут же умолк. Парень, подававший команды, звучно облизнулся и задумчиво, растянутым голосом, сказал:

– А ты, девка, не умаялась.

Невеста подняла наверх пуще прежнего прищуренные глаза и, уже дразня людей с теплохода, снова потянулась губами к губам жениха и завозилась в них.

– Я говорю, не умаялась она у тебя, – с веселой злостью крикнул парень жениху. – Что ж ты это так, а?

– Езжай, куда едешь, – отмахнулся тот.

– Я-то поеду, но ты смотри, как бы из твоей команды кто к ней не подъехал. Вот они, все, как один, комсомольцы-добровольцы. Смотри.

Началась перепалка. Жених, торопясь уйти от нее, пожал кому-то, кто уезжал, руку и потянул за собой невесту. С палубы, поверх дебаркадера, было видно, как они поднялись на берег и, не оглядываясь, вошли в автобус. Ребята со свадьбы попытались силой увести туда же и отъезжавшего, но он вырвался и заскочил на теплоход.

Парень рядом с Виктором долго не унимался:

– Смотри, жук какой! Увел. Съели бы ее тут. Она ему еще покажет. Она ему покажет! – грозил он. – Эта девка – о-е-ей! Вон, поехали, повез. Вези, вези, не останавливайся, а то как бы не убежала.

Когда снова снялись, стало уже темнеть. Солнце давно ушло, на берега легла сплошная густая тень, и только у самой воды узкой ломающейся полоской желтел каменишник. Горы вдали, молчаливые и низко сгорбленные, заволакивало серой, едва уловимой дымкой. Кое-где

уже пробивались огоньки, но, помигав, пропадали, растворялись в неверном и зыбком свете сумерек. Небо казалось подтаявшим, размытым, звезды на нем еще не проклюнулись, горизонт мягко и невидно сливался с землей. От воды несло сыростью и прелью, но и сквозь них с берегов доставали слабые и приятные, чуть горчащие запахи остывшего жаркого дня. Река светилась как бы изнутри, из своей глубины, и, переливаясь, из конца в конец блестела четкой, густо-синей лентой, таинственной и холодно-сказочной, над которой в воздух поднималось бледное и призрачное сияние. Мерно и приглушенно шумела за бортом вода, да от катившейся по камням волны долетало осторожное и ленивое журчание.

Виктор стоял, слушал, смотрел. И эти печальные и чуткие картины позднего летнего вечера у реки, со смутными и теплыми, еще не затвердевшими красками; чистые, негромкие звуки, пятнавшие наползающую на землю тишину, чуткость, отзывчивость и ненадежность всего этого вызывали в нем сладкое и томительное чувство благодарности и любви. «Как же так? – упрекая и сокрушаясь в забыты, рассуждал он. – Почему мы не хотим замечать то, что нам необходимо знать и видеть в первую очередь? Почему так много времени мы проводим в хлопотах о хлебе едином, и так редко поднимаем глаза вокруг себя, и останавливаемся в удивлении и тревоге: отчего я раньше не понимал, что это мое и что без этого нельзя жить? И почему забываем, что именно в такие минуты рождается и полнится красотой и добротой человеческая душа?»

Он спрашивал и не мог ничего ответить.

Потом он уже не смотрел, не слушал и не размышлял. Он плыл в воздухе, совсем один, сворачивая то к дальним молчаливым горам или черным пашням, то снова возвращаясь к реке, и все, что оставалось позади него, отходило ко сну. Он плыл, благословляя открывшиеся ему в свой сокровенный час родные места на отдых и силу, и слышал, как они отзываются ему благодарным шепотом.

Мимо, совсем близко, прошумел остров, высокий и закругленный, как баржа, и Виктор очнулся. Да, проплыли остров... Как хорошо теперь на островах, где поднимаются мягкие и нежные, будто мех, травы и особенно ярко и щедро цветут цветы, где запахи воды, земли и буйной зелени смешиваются в тонкий и острый хмельной настой, который, несмотря на вечные ветры, никогда не пропадает, лишь к осени становится острее и суше. От ветров гнутся в одну сторону деревья, но стоят крепко, кряжисто, широко раскинув цепкие и тугие корни. Возле воды заросли ольхи и тальника, а в нем ягодник – больше всего смородины. И всегда на острове возникает удивительное – обманчивое и одновременно верное ощущение движения, словно ты на корабле, на пароходе, плывущем медленно и важно, и возникает оно не столько от воды кругом, сколько от волнующего чувства какой-то приподнятости над землей, пьянящего и желанного парения. Знаешь, что стоишь на твердой земле, но под ногами, передвигаясь, мелко подрагивает, поворачивает то влево, то вправо, и ты уже не в состоянии сопротивляться – плывешь куда-то осторожно и загадочно.

И вдруг Виктор испуганно вспомнил: а ведь возле его деревни больше нет островов. Нет больше ни Хлебника, ни Березовика, где когда-то он брал смородину, рвал дикий лук и чеснок, пас коней, боронил поля и косил сено. Их затопило. Поднялась вода, выше любого, самого страшного наводнения, какое видывали на своем долгом веку острова, и захлестнула, подмяла их, изо всех сил старавшихся сжаться и закаменеть, чтобы выстоять до конца, но вода все прибывала и прибывала, скрыла под собой деревья и ушла выше. Теперь она давно уже вымыла и разнесла по сторонам всю землю, на которой росли хлеба и травы, и сровняла острова с дном. Нет больше островов, и названия их, сиротливые и пустые, звучат все реже и отходят все дальше, откуда уже не дано вернуться.

Стало прохладно от ветра и как-то неловко, совестно на душе от этого воспоминания, и Виктор пошел к себе в каюту.

Да, давно он не был в деревне. Но последний свой приезд туда помнил так хорошо, будто только сейчас и возвращался обратно. Это было как раз накануне затопления водохранилища ГЭС, которую строили ниже по течению, и деревню переносили на новое место. Точней сказать, ее разрывали на части. Колхоз уезжал куда-то за двести километров в чужие степные края, леспромхоз, занимавшийся очисткой ложа водохранилища, оставался здесь же, но от воды переносил свое хозяйство в гору, сплавную контору переводили в другое село. На три стороны снималась деревня. Никого никуда не неволили, но и без того непросто было выбрать человеку свою судьбу, если он не знал другой работы, кроме пашни, и не представлял, как можно жить где-то, где нет ни реки, ни тайги.

Виктор вот так же приплыл на пароходе в начале июля и тоже вечером, под сумерки. Еще с парохода он заметил, как сильно поредела и оголилась деревня, потеряв свой привычный порядок и вид. На пристань, кроме нескольких ребятишек, никто не пришел – значит, было не до того. Берегом, не выходя на улицу, Виктор, направился к себе домой; перед тем, как свернуть в проулок между огородами, постоял у воды, греясь под низким и теплым, бьющим прямо в лицо солнцем из-за реки, и только после этого зашагал дальше. Он не удивился, когда, подняв глаза, не увидел поверх бани знакомого ската крыши: опоздал.

Избу успели разобрать. Часть высокого глухого заплота из плах, на котором маленький Витька спустил не одни штаны, тоже снесли, вторая часть, примыкающая к амбарам и оканчивающаяся широкими и тяжелыми, старинной работы расписными воротами, стояла нелепо и горестно. Особенно нелепо выглядели упрямо закрытые в разгороженную ограду ворота, рядом с которыми уже обозначилась внутрь дорожка. Виктор нарочно не пошел по ней, а повернул большое чугунное кольцо на воротах и приподнял задвижку. Из амбара к нему кинулась мать, но, не добежав, остановилась и заплакала, показывая рукой на чернеющее избище. Вышел отец, поздоровался с Виктором за руку и, пряча глаза, сказал:

– Ну, вот и хорошо, что приехал. Хоть поможешь теперь. А то уж мы не знали, что и делать.

Виктор подошел к избищу и долго стоял над ним, как над могилой, с волнением и недоумением глядя на рассыпанную золу, на куски окаменевшей глины от русской печи, на две маленькие металлические пуговицы, которые, быть может, он сам же когда-то закатил под пол, и вдыхая теплый и кислотоватый, еще не испарившийся запах человеческого жилья. Стенки подполья осыпались, но на одной, уцелевшей, зеленели изогнувшиеся вверх картофельные ростки. По старой, изопревшей щепе проворно бегали зеленые жучки, в углу, то приседая, то поднимаясь на своих длинных тонких ногах, шевелился большой серый паук. И этот открывшийся глазу, вытертый деревом до пыли кусочек земли, который занимала изба, показался вдруг Виктору до того маленьким и ничтожным, а все, что составляло избу и что лежало теперь рядом двумя аккуратными штабелями, – до того грубым и ненадежным, что он и не знал уже, верить ли, что все это стояло именно здесь и было добротное, уютно и просторно.

В тот же вечер он обошел всю деревню из конца в конец. От нее оставалось уже немного. Только несколько изб и стояло еще спокойно, остальные были или развалены, или початы: неуклюже и голо торчали раскрытые стропила, мертво и властно смотрели в улицу проемы выставленных окон, за которыми, не оседая, клубилась пыль и недоуменно и зябко, словно после пожара, стыли под небом оставленные на произвол судьбы русские печи, «битые» из глины и не приспособленные для переездов. По улице валялись осколки стекла, куски кирпичика и сгнившего, лохматого и вязкого дерева, легкие и колючие, похожие на «перекати-поле» клубки почерневшего мха, которым когда-то конопатили стены, – все то, что обычно и появляется при разорении, и остро ощущался в воздухе сырой и смрадный запах поднятого тлена. Не трогали только огороды, вдруг весело и отчаянно вышедшие на передний план, не могли тронуть и кладбище, расположенное посреди деревни, выше мостика через речушку, и лежащее посреди общей суетоки в каком-то особенно жутком молчании. Не один век с тех пор,

как поселились здесь люди, освящало и полнило оно эту землю ушедшими, и вот теперь подходила пора расставаться и с ним.

С Виктором здоровались, заводили разговор, но прежде всего спрашивали:

– Видал, что делается, а? Светопреставление.

Он заметил, что люди взбудоражены как-то неестественно и испуганно. То не к месту смеялись, то вдруг на вопрос умолкали и смотрели мимо задумчиво и печально, отдавшись своим тревожным мыслям. С трудом заставив себя вытащить первый гвоздь и снять с крыши первую доску, они начинали торопиться, ими словно овладевал неудержимый и яростный азарт разрушения, который не остывал до тех пор, пока было что ломать. По вечерам, боясь одиночества, они собирались вместе у кого-нибудь на бревешках от поваленной избенки, курили и говорили об одном и том же – о переезде.

Это было жаркое, суматошное и душное лето. Горели леса, которые не успевали убрать с пользой, из-за реки на парамах плавил постройки (сюда же, в одну кучу, собирали еще четыре ближних деревни), шныряли какие-то незнакомые люди, с надрывным ревом ползли в гору машины и тракторы, перевоза на новое место разобранные дома, стучали топоры, больше обычного, чувствуя перемены, кричал скот, как всегда в дни неурядиц и беспорядка, много спорили и кричали по пустякам люди, а по ночам, когда ненадолго утихал весь этот шум и гам, в наступившей тишине принимались выть собаки.

И шли бесконечные разговоры о деньгах: кто выгадал и кто прогадал на переселении, почему оценочная комиссия износ одной избы определила больше, а другой – меньше, кто уже успел пропить свои денежки и кто приберег на «черный» день. Рассуждали, как вывернется Николай Точиллов, известный в деревне хитрец, который собирался сначала ехать с колхозом и получил деньги за длинную дорогу, потом передумал, но деньги по перерасчету возвращать отказался, сославшись на то, что у него их нет.

Каких только историй не наслушался Виктор в то лето, чего только не нагляделся.

Тогда же, при нем, уезжали колхозники. Колонна была готова еще с вечера: погрузили на лесовозы и тракторные телеги жильё, столкнули в грузовики вещи. Трогаться договорились с зарей, чтобы за день поспеть до места, но едва-едва снялись к обеду. Со времен войны не видывала деревня ничего похожего. Пили прощальную водку мужики; плакали, сквозь слезы отдавая последние наказы по скотине и огородам, бабы; испуганно и шустро сновали, сбившись в стаи, ребятишки. Обнявшись посреди улицы, горько и громко голосили две старухи – бабушка Виктора и их соседка, старуха Лукея. Всю жизнь они прожили рядом, каждый день ходили одна к другой на чай, давно решили меж собой, что и с того света будут прилетать к людям двумя одинаковыми пташками-подружками, но теперь старуху Лукею увозили. В передней машине строго и торжественно, готовый на любые испытания, сидел глухой дед Степан в добытой где-то милицейской фуражке и при двух Георгиевских крестах на полинявшей добела гимнастерке. Тракторист Иван Зуев долго гонялся за кобелем, которого хотел взять с собой, но кобель никак не давался, и Иван со злости пристрелил его, а потом за пятнадцать минут напился и стал выбрасывать из машины свои узлы. Кто-то в каменной неподвижности сидел на кладбище, кто-то в последний момент спохватываясь и бежал за забытой у соседки посудинкой. Горели подожженные с вечера колхозные конюшни, и горький дым, не подымаясь, стлался по улице. Срывалась и умолкала нетрезвая песня, в который раз раздавалась команда садиться по машинам. Наконец тронулись, заплакали, закричали и запели громче, поехали.

День был тихий, неяркий, и так же тихо и ровно текла река, не зная за собой ни вины, ни беды.

После отъезда колхозников оставшиеся заторопились еще больше. Теперь только на короткие темные часы и умолкал перестук топоров. Новая деревня одним концом выходила в поле, вторым должна была пробиваться в лес. Участок под избу отцу Виктора достался довольно чистый, со старой межи, но с тоской и отчаянием смотрел отец на прохладный, тени-

стый угол немолодого сосняка, который ему предстояло корчевать под огород. Виктор помог ему собрать избу и уехал. Ему пора было на работу.

Из дому писали часто, сообщая больше о том, кто умер, кто женился и кто родился, а написать, как стоит сейчас деревня, как она живет и здравствует, не умели.

Но теперь уж только до завтра. Завтра он увидит все своими глазами.

* * *

Он долго сидел на диване в полутемной каюте, ни за что не принимаясь и глядя в стену бессмысленно и слепо. В открытое окно наносило прохладу, от которой он начинал дрожать, но окно не закрывал. Постепенно воспоминание отошло и погасло. Теперь он знал, что, собираясь в деревню, обманул себя, он все время имел в виду деревню старую и почему-то не хотел вспоминать, что ее давно нет. Но не это сейчас беспокоило его, в конце концов, он ехал к отцу с матерью, которых обязан был повидать, где бы они ни жили.

За окном возникали и удалялись тихие и осторожные шаги. Где-то звучала музыка, и знакомый голос, казавшийся теперь бесконечно грустным, снова и снова дразнил редким, особоволнующим положением: «Вода, вода, кругом вода».

Он ждал чего-то, какого-то значительного и чудесного завершения этого длинного неспокойного дня, каких-то редких и счастливых волнений. Что-то должно было случиться. Что именно, он не знал и не гадал, но ждал и боялся упустить что-то такое, что могло быть только сегодня и не могло никогда повториться. Смутное и неопределенное чувство, томя таинственным обещанием, не давало ему покоя.

Позже он снова вышел на борт. Звезды, еще не назрев, были по-весеннему далекими и мелкими, зато луна, круглая и полная, висела под небом совсем низко и празднично. В ее молчаливо-торжественном серебристом свете все вокруг лежало в ленивом и блаженном оцепенении, и только река, в глубине которой во всей своей сказочной роскоши отражалось ночное небо, сверху отсвечивала своим стеклянно-зеленым надменным сиянием. Теплоход двигался почти бесшумно, чуть отваливая от бортов воду, и в чистом холодном воздухе мерещился тонкий, на одной струне, счастливо-ноющий лунный звук, то спадающий на землю, то медленно уходящий вверх. Он звал куда-то, напоминая что-то дивное и давнее, и сердце, тревожась и не понимая, заходило в отчаянной мольбе: что? куда? Отзвучав, он возвращался опять и снова и снова бередил желанной и сладостной болью, снова и снова манил в чистые и заповедные дали.

В корме танцевали, и Виктор пошел туда, стал смотреть на танцующих. Здесь же были и муж с женой, за которыми он наблюдал в ресторане, когда они ужинали всей семьей. Кажется, только им одним танец и доставлял удовольствие, остальные топтались с нервным упрямством в движениях, с болезненной покорностью на лицах. На их лицах светилось наслаждение. Она положила ему руки на плечи, откинув голову назад и улыбаясь, и он, чуть приседая, кружил ее в полном и счастливом самозабвении. Но Виктору не пришлось долго любоваться ими. Муж что-то сказал ей на ухо, она в ответ засмеялась и покачала головой, но покачала с такой очаровательной медлительностью, и с такой удивленно-радостной отзывчивостью в глазах, что отказ этот и невозможно было понять иначе, как согласие. Скоро, все так же кружась, они оторвались от всех остальных и поплыли по палубе в сторону, все дальше и дальше, пока не скрылись совсем. И больше не появились. И снова, как и в первый раз, Виктор поймал себя на неловком и завистливом чувстве, он был рад, что они ушли, ему легче было наблюдать за такими же одиночками, как и он сам, и усталыми людьми, истомленными безуспешной надеждой дожидаться своего счастливого мига.

Нет, что-то все-таки должно было случиться и не случилось.

С неба сорвалась звезда и, прочертив горящую линию, погасла. И тут же невесть с чего, как спросонья, коротко и жалобно хныкнул гудок теплохода. Сильней и ближе зазвенело небо

и еще глуше и бледней стала земля. В отходящей к берегу волне, удлинняясь в свечки, играли звезды. Встречный ветер, треплющий освещенный прожектором флаг теплохода, дул поверху и не тревожил речную гладь, но после волны за кормой оставалась легкая зыбь. Изредка сбоку возникали желтые или красные огни бакенов, возле них шумела вода.

Широко и ярко гуляла над землей ясная майская ночь, уже летняя, смелая, но справа, на востоке, там, где заниматься заре, начинал слабеть край неба.

И все так же мучилась и болела душа, отзываясь на какое-то прекрасное обещание, звучащее в ночи с неистовой и страстной силой.

... Утром проснулся Виктор от странного и длинного скребущего звука – будто теплоход терся обо что-то бортом. Он прислушался: нет, теплоход двигался, его мерные и частые, подхватывающие друг друга толчки чувствовались отчетливо. Сквозь изогнутые под углом деревянные пластинки на поднятой в окне решетке играло на полу таким же тонко разлинованным рисунком солнце. В каюте было свежо и прохладно – значит, утро еще не нагрелось. Шел всего седьмой час.

Снова протянулся из конца в конец тот же непонятный звук, но уже слабей и выше, с глухим перестуком. Зевая и морщась со сна, Виктор поднялся с постели, опустил вниз и с трудом закрепил на задвижке срывающуюся решетку и вдруг отшатнулся: перед его лицом, едва не задев, подпрыгнула и исчезла грязная острая ветка. Впору было перекреститься: теплоход двигался по лесу. Мимо, царапая ветвями борт и оставляя на палубе сучки, проплыли две стоящие рядом березы, потом показалась верхушка сосны, потом снова береза.

Виктор торопливо оделся и вышел на воздух. Теплоход пробирался внутрь какого-то неведомого широкого залива, с берегов которого далеко в воду уходили деревья. Они торчали и впереди и сзади. Первое впечатление двоилось и подменялось; неясно было, что удивительней и невероятней: то ли считать теплоход, осторожно ползущий среди деревьев, огромным доисторическим чудовищем, то ли смотреть на деревья, растущие из воды, как на какую-то фантастическую картину.

Впрочем, фантастическую ли? Деревья были голые и жалкие, без листьев, с редкими, скатавшимися иголками хвои, с набухшими от воды осклизлыми ветками, с черными, похожими на гусениц, сережками на березах. Одни еще держались прямо, другие уже клонились, их потихоньку вымывало. На них, подпрыгивая, насакивала волна, и тогда они с хлюпающим стоном качались, натягивая и без того ослабшие корни, качались, как плавуны, долго и бес- сильно, без той гибкости и игры, с какой ходит лес под ветром. На березе, стоящей на краю берега, лист был совсем желтый и мелкий, ветви обвисли, весна для нее так и не наступила, но дальше, как ни в чем не бывало, толпясь, взбегал в гору молодой крепкий сосняк, горела под солнцем сочной майской зеленью высокая осина.

После неожиданного в этих безлюдных местах и как бы нарочито приглушенного гудка теплоход приткнулся к голому, необжитому берегу, где на поднятом щите было накорябано название какой-то незнакомой, не существовавшей прежде на реке, пристани. На землю сошли две женщины и направились по дороге в гору. Теплоход тут же развернулся и пополз обратно, все так же крадясь между затопленными деревьями, где булькала рыба. Солнце поднялось уже высоко, стало теплей и суше, разошлись по сторонам и развиднелись дали. По берегу, переле- тая одна за другой с елки на елку, с громким карканьем провожали теплоход две вороны, но в их корявом, раскатистом крике не было ничего, кроме любопытства. Навстречу, тарахтя на малых оборотах, как трактор, прошла моторная лодка, в шапке и телогрейке сидел в корме бородастый мужик, в носу лодки валялись мокрые неразобранные сети.

Залив, раздвигая берега, все расширялся и расширялся. Теперь уже плыли по чистой воде, не боясь ни за что зацепиться, и двинулись, набирая ветер, шибче. Просыпался на тепло- ходе народ, забегали ребятишки. Матросы в тельняшках, покрикивая друг на друга, суетились

над чем-то в носу; шаркала веником по палубе молодая женщина в расстегнутом халате; из кухни снизу потянуло запахом разогреваемых щей.

Наконец еще после получаса хода теплоход выбрался из залива и, не сворачивая, направился куда-то к противоположному берегу, который темнел впереди далеко и неясно. Виктор и не представлял себе, как широко могла разлиться вода, и смотрел вокруг с удивленной оторопью, не зная, чему больше поражаться – ленивой ли мощи огромной массы воды, которую теперь называли морем, затопившей тысячи и тысячи гектаров земли, или тому, что все это заранее загадано и осуществлено с той точностью и уверенностью, которые никогда не поддаются пониманию несведущего в таких делах человека. От реки тут, конечно, ничего не осталось, и даже приблизительно нельзя было указать, где пролегало ее русло: еще ночью, когда Виктор спал, река захлебнулась и утонула во встретившем ее равнодушном разливе. От берега до берега было километров десять, если не больше, потому что вода обычно скрадывает расстояние; на севере, куда прежде уходило течение, земля не смыкалась долго до далекого и низкого горизонта.

Вода казалась неподвижной и серой. Бревно, оставшееся за кормой, не смещалось в сторону, а только отдалялось от теплохода; и высокое, почти прямо стоящее солнце не могло проникнуть внутрь, освещая лишь мутное и блеклое колыхание. В ней уже не было причудливой игры синей и зеленой красок, живой и волнующей неустанности в красоте и радости свершающегося движения, смутного, темно-бутылочного сияния глубины, и чистой, со стеклянным звоном, музыки на перекатах, и волнистых поперечных дорожек от впадающих с силой горных речек, и гордого, манящего к себе вида островов – всего того, что еще только вчера несла с собой река. Из края в край вода лежала покорно и глухо одной необъятной равниной, подавляя своей тяжестью унылые и низкие берега. Воздух над ней был пуст, не носились в нем стрижи со свистящим, отрывистым звуком, не заливались ласточки, не собирались они в дружные, гомонящие – хоть уши затыкай! – стаи, чтобы отогнать ястреба. Зато, как знал Виктор, появились чайки, стали прилетать откуда-то большие, невиданные прежде в этих местах орлы – море, какое бы оно ни было, постепенно обзаводилось своей жизнью.

Теплоход между тем приближался к большому, стоящему, видимо, на вырубке селу: ниже улиц густо желтели круги пней. Среди старых, почерневших изб много было новых, срубленных совсем недавно; их красноватые, с потеками от запекшейся смолы стены пылали под солнцем ровным налитым жаром; крутые тесовые крыши висели легко и весело, готовые, казалось, оторваться и улететь. Несколько домов стояло и совсем богато: под шифером – не слыханная раньше роскошь! В палисадниках уже прижились рябина, березки, елочки. Кое-где на улицах остались от леса и сосны, но, как всегда в соседстве с человеком, они изо всех сил торопились подняться вверх и торчали голо и бедно, с неказистыми ветками на макушке.

Со всех сторон этого села к пристани торопились люди. Трещали мотоциклы, виляя из стороны в сторону в безуспешной попытке объехать пни и все-таки прыгая по ним; затеяв отчаянную возню, носились по берегу собаки; две коровы, подняв от травы головы, смотрели на подходящий теплоход пристально и очумело; от гудка стреканул к огородам теленок и жалобно замычал там, косясь на незнакомое голосистое чудовище; за пряслон, возле которого дрожал теленок, взлетел на голову огородного пугала петух и загорлопанил с бурлацкой откровенностью, внося свой вклад в общее оживление. И ребятишки, ребятишки, которые, как горох, сыпались из каждой щели. Какой-то карапуз, сверкая рыжей головенкой, не поспевал за растянувшейся цепочкой детей постарше и от обиды ревел на бегу, но никто не обращал на него внимание, все неслись как угорелые. Наконец, запнувшись, карапуз упал и зашелся в крике, зовя кого-то, – и дозвался: такая же рыжая, как и он, девочка лет семи или восьми, бежавшая впереди, быстро развернулась, подскочила к мальчишке, торопливо отшлепала его и снова помчалась дальше. Он тут же вскочил и кинулся за ней – удивительно и непонятно было, как

мог он бежать и одновременно, не прерываясь, кричать столь громко и требовательно, заглушая своим ревом все остальные звуки.

Вот так же когда-то и маленький Витька, как эти ребятишки, мчал со всех ног к первому пароходу и, не зная, что с собой делать от радости, готов был лезть в воду и тонуть. После того лишь и наступало по-настоящему лето, как из-за Верхнего острова появлялся знаменитый в те годы «Лейтенант Шмидт», вечно заваливающийся на один борт пассажирский колесник, и издавал протяжный приветственный гудок. О, что тут творилось, какая подымалась суматоха! Хлопали двери, калитки, ворота, с единым многоголосым воем, разбрызгивая по сторонам всякую мелкую живность, вроде куриц и поросят, неслась по улице детвора. Кто-то палил из ружья, кто-то, забравшись на колхозный амбар у пристани, размахивал содранным с сельсовета флагом. Тарахтели телеги, ржали разгоряченные кони. Все, что только могло ходить, выплескивалось на берег. Не помеченный красным числом, не сдабриваемый выпивкой, не отпущенный на отдых, это был праздник, который ждали ничуть не меньше, чем любой другой. Да и потом уже, позже, всякий раз как прийти пароходу, на пристани собиралась толпа, до полуночи и больше, если он опаздывал, жгли костры, но не расходились. Матери, заслышав гудок, туркали ребятишек: «Беги скорей, посмотри, кто к кому приехал, да гляди не перепутай».

Что и говорить – летом деревня оживала. Наезжали гости, привозили подарки, да и сами деревенские изредка позволяли себе сесть на пароход и отправиться куда-нибудь по делам и заботам. Добирались сюда с экспедициями и совсем чужие, незнакомые люди из больших, чудному звучащих городов, которые, оказывается, действительно существуют на свете, а не придуманы только в книжках (одно лишь название своей деревни представлялось понятным и вечным, словно с нее и пошла земля, остальные почему-то походили на шуточные, несерьезные, которым то ли верить, то ли нет). А кроме того, всегда интересно было не просто смотреть на пассажиров, стоящих на палубе в забавных, невиданных одеждах, но и представлять себе, что и ты когда-нибудь несколько не хуже их возьмешь да и покатишь куда-нибудь, куда твоей душевнице будет угодно.

Но проходило лето, подступала зима. И – Боже мой! – как тоскливо и горько – хоть плачь! – становилось на душе, когда последний пароход исчезал все за тем же Верхним островом, а вслед ему задувала холодная, с дождем и снегом, низовка; печальная, сиротливая деревня оставалась одна-одинешенька на всем белом свете со своей неказистой судьбой, на долгие месяцы в терпении и надежде оставалась ждать следующего лета. И снова жгли костер, но он был прощальным, и вокруг него стояли молча и подавленно, грея руки и спины, снова кто-нибудь палил из ружья, но от выстрелов этих еще больше сжималось сердце.

Но и зима проходила. Поверите ли, из-за Верхнего острова опять появлялся «Лейтенант Шмидт»...

Под шум, гам, треск, лай и вой всего, что собралось на берегу, теплоход ткнулся носом в дно на довольно почтительном расстоянии от земли и замер. Стало ясно, что пристать здесь не просто: берег низкий, дно высокое, вода держится только поверху. Отгребаясь, теплоход сдал назад и попробовал сунуться в другом месте – то же самое. После четырех безуспешных попыток подойти ближе, на которые ушло почти полчаса, когда толпа на берегу не переставала подавать советы, один лучше другого, капитан, потеряв терпение, крикнул наконец сверху «стоп!», и теплоход застыл, оттянув на всякий случай корму в море. Автоматический трап, красиво развернувшись в воздухе, не достал до земли даже наполовину; по трапу, повисшему в пустоте, полез матросик, волоча за собой стремянку, но и ее оказалось недостаточно. С берега матросику толкнули доску, потом сбегали еще за одной – с большим трудом переправа была все-таки наведена, хоть и непрочная и дырявая, потому что в стыке доски и стремянки плескалась вода.

И тут же на теплоход ринулись мужики. Матросик пытался остановить их, срывающимся тонким голосом кричал, что сначала надо выпустить приехавших, но, оказавшись в воде, сразу

притих и стал заворачивать наверх свои мокрые штанины. А мужики все перли и перли – весело и отчаянно, и все налегке, без вещей, от посадочных талонов, которые им пытались вручить у трапа, они отмахивались и бегом, громяхая сапогами, один за другим бросались куда-то внутрь.

– Васька-а! На меня не забудь. Васька-а-а! – надрывался кто-то с берега.

Впереди толпы Виктор увидел и своего знакомого – рыжего карапуза лет четырех, который перед тем с шумом и приключениями добирался до пристани. Лицо у него было конопатое, в крапинках, слезы давно высохли, и он, бороздя обутыми на босу ногу сандалиями воду, в которую, наверно, и сам не помнил, как забрел, смотрел на теплоход и на всю связанную с ним суету с внимательным и серьезным удивлением. Сзади, не предупреждая, к нему подскочила все та же похожая на него, скорая на расправу девчонка, без всяких объяснений шлепнула его и, как ни в чем не бывало, не переставая что-то возить во рту, вернулась к своим подружкам. Мальчишка дернулся, но смолчал. Более того – он понял назначение этого шлепка, неторопливо отцепил с ног сандалии и кинул их на берег. Без них он почувствовал себя даже лучше и уже смело стал бродить туда и обратно перед теплоходом, пока не взобрался на затопленный пень. Потоптался, потоптался на нем и решил сесть, но только успел окунуть в воду место, на которое садятся, как к нему опять проворно метнулась девчонка, имевшая на него какие-то особые права, и снова быстро и ловко, с заученным механизмом размашистого движения, нашла этому месту свое привычное применение – с сочным и аппетитным звуком. Но и тут мальчишка догадался, что к чему, и сразу принялся стаскивать с себя штанишки.

– Гринька, паразит, – жуящим говорком предупредила его девчонка, – если ты еще рубаху сымешь, я тебя утоплю – так и знай.

Снимать рубаху Гринька не решился. Зато после некоторого раздумья он приподнял свой открывшийся всему белому свету отросточек и, направив его в сторону теплохода, стал булькать в воду. Кончив, содрогнулся всем телом, вздохнул таинственно и печально и сел, как до того собирался, на пень под собой, погрузившись в воду по грудь и, конечно, замочив последнюю, что на нем осталось, – рубашку.

Теплоход загудел и за длинным гудком дал сразу все три коротких. И посыпались, посыпались обратно на берег поразбухшие мужики, позвякивая бутылками, натолканными в сетки, сумки, в карманы, за пазуху – всюду, где их можно было пристроить. Теперь объяснилось, что вело их на теплоход в одном страстном и могучем порыве; словно пытаясь оправдать их, Виктор вспомнил, что сегодня воскресенье. Парень в синей спортивной майке с длинной единицей на спине, взбугривая огромные волосатые руки, вынес ящик пива, осторожно опустил его на землю в сторонке от толпы и, не обращая внимания на подскочивших к нему дружков, которые радостно хлопали его по спине, принялся сбивать первую пробку. Рослая и здоровая, молодая еще женщина с ленивой деревенской красотой молча гонялась за юрким плюгавеньким мужичонкой. Вертясь от нее в толпе, он успевал незаметно опускать в заботливо подставленные карманы прозрачные бутылки с простой и выразительной наклейкой. Одним словом, к тому времени, когда капитан подал команду сниматься, жизнь в этом поселке уже обещала интересное продолжение.

Теплоход не без труда оторвался от земли, пополз, трап, переламываясь посередине, поплыл наверх, но тут выскочили откуда-то еще два мужика, кинулись к трапу и, хватаясь руками за трос, полезли по нему, так что трап пришлось выпрямлять, потом, как с вышки, покачавшись на его пружинящем конце, под смех и крики с той и другой стороны бухнулись в воду. Третий мужик торопливо и нервно, со свистящим выдохом, перебрасывал бутылки на берег. От них шарахались, разбежались, затем снова смыкались, чтобы поднять, но две бутылки, угодив о пни, разбились. Освободившись от груза, мужик бросился за борт и сам, но ему понадобилось уже подгрести, прежде чем удалось встать на ноги. Мало того, был еще кто-то и четвертый, невидимый Виктору сверху, потому что люди на берегу, приплясывая, кричали:

– Прыгай! Прыгай! Петро, прыгай!

– Та я ж плаваты не могу, – с мягким хохлацким выговором отвечал им этот Петро.

– Тогда бутылку бросай! Бутылку!

– Та вы ж выпьете.

– Ну, Петро, – громко терзал его чей-то женский голос. – Задаст тебе Анка, как приедешь.

Она тебе задаст – о-е-ей! Она тебе что говорила? Ты ей что говорил?

– Анке кажите, щоб блюла себя. Кажите, що скоро прииду.

– Она тебе поблюдет. Ты сам-то себя как блюдешь? Ты ей что говорил?

– Петро-о! – вдруг возопил кто-то громче всех через сложенные рупором ладони. – Держись, Петро, я тебя выручу. Я за тобой сейчас... Слышишь, Петро?

– Слышу-у. Выручи, Семен.

Семен на берегу рысцой побежал к стоящим длинным рядом справа от пристани лодкам. Слышно было, как там зазвенела цепь, потом зачихал и частой дробью зашелся мотор. И вот уж Семен в красной полосатой рубашке достал на своей лодке теплоход, пристроился сбоку.

– У тебя, Петро, деньги с собой есть? – спрашивал он.

– Та есть маленько.

– Ты на меня там штуки две или три возьми. Хватит у тебя? Мне только до дому, я отдам.

– Та хватит.

– А я тебя выручу. Мы с тобой, как штык, сегодня же обратно будем. Твоя Анка раскипятиться не успеет, а мы уж тут.

Виктор сошел вниз, к расписанию. До следующей пристани было больше сорока километров, два часа ходу. Когда он снова поднялся на палубу, лодка Семена уходила с задраным носом в сторону от теплохода, выбрав свой, более короткий путь, а сам он, накрывшись от ветра и брызгающей воды не то плащом, не то куском брезента и низко склонившись в корме, походил на большую нахохлившуюся птицу. Но примерно через час Виктор услышал из своей каюты, как хриплый, простуженный голос звал:

– Петро! Петро-о!

Виктор выглянул: лодка Семена опять шла сбоку, впереди волны, а Семен сидел в совсем мокром и дырявом плаще и, вытягивая шею, продрогшим басом выводил:

– Петро-о! Где ты, Петро-о?

Затем лодка отстав, исчезла, и голос сдавленно донесся с другой стороны:

– Петро-о!

Но Петро не отзывался.

К пристани Семен поспел раньше теплохода. Спустили трап, и он сразу встал возле него с блуждающей и застуженной улыбкой. Стали выходить пассажиры – две старушки, одной из которых помогал матрос, женщина с ребенком и солдат. Последним, держась обеими руками за трясные поручни и все равно сильно шатаясь, спускался невысокий, хорошо сбитый мужик со стриженной под машинку головой, на которой только у лба болтался узкий, как ленточка, светлый чубчик. Лицо Семена на мгновение вытянулось, затем улыбка разошлась на нем еще шире. Он подхватил мужика под руки и, что-то быстро и весело говоря ему, повел к лодке.

После обеда Виктор впервые увидел чаек. Две птицы летели за теплоходом с красивой и важной медлительностью, держась рядом, плавно и торжественно двигая длинными крыльями. Сияло солнце, но небо побелело и подул встречный ветер, который, казалось, загибал и сносил солнечные лучи. По морю заходили волны, взбивая пену, и чайки, садясь на воду, сразу терялись в ней. Садились они часто, как только долетали до какой-то определенной черты, которую не хотели переступать, чтобы не оказаться к людям ближе, чем это положено. Затем всякий раз издали доносился гортанный крик, и чайки, как под команду, одновременно взмывали.

Берега по сторонам были все так же унылы и однообразны. Солнце мало веселило их. Лес, не затопленный водой, чудом спасшийся от смерти на кромке своего счастья, словно бы

не до конца верил в это чудо и ждал для себя какой-то новой беды. Выглядел он неопрятно и запущенно, со случайно торчащими деревьями, спрятанными прежде в тайге и не готовыми к тому, чтобы стоять на виду. Да и берега как такового, как линии между водой и землей не было, за одним сразу начиналось другое, и даже более того – не успевало кончиться одно, заступало другое. Нигде еще, сколько сегодня плыли, не видел Виктор ни каменишника, ни песка, очерчивающих эту границу, нигде не возник перед глазами яр с красками глины и камней в стене, с аккуратно выложенным красным плитняком подножием. Когда-то теперь все это установится, отстоится, придет в порядок и красоту.

Но иногда вдруг появлялись поля, и сразу отходило на душе. Этот небольшой просвет в заунывной синеве чащи был как желанный отдых посреди долгого и утомительного пути. Где-нибудь на краю поля чисто и бело теплилась березовая роща, дальше, где даже тени светились отраженным сиянием, прозрачной зеленью курились кружочки полян. И так хотелось перенестись туда, уткнуть голову в траву, на которой замысловатыми кружевами сквозь листья деревьев играет солнце, и уснуть, оглушенному цырканием кузнечиков и важным, державным шумом верхового ветра.

Но, развернувшись, поле исчезало, и опять наплывал сырой и сумрачный лес, платящий бесконечной тоской за то, что, не спросясь и не подготовив, его вывели на передний план.

Вода разошлась еще полней, умножившись в воды; ее слепой могучий разлив вызывал какое-то неопределенно-зыбкое, словно миражное чувство удивления и растерянности. С глухим гулом возились волны, едва намекая на скрытую изнутри силу, по волнам ходили яркие и резкие блики падающего солнца, в холодном ветренем мареве дробились берега. Далеко справа прошла навстречу самоходная баржа, груженная лесом, с нее доносилась музыка, и видно было, как на веревке треплется белье.

Длинным усталым звуком свистел в пустом воздухе ветер, ищущий преграды и забавы. И такой же продолговатой впадиной, в которой лежало море, как верхняя прозрачная створка, висело невысокое вытянутое небо.

Строгая и по-своему красивая картина. Только все в ней было как-то просто и ясно, как в сколоченном собственными руками ящике, которым можно гордиться, но в котором знаешь каждый сучок. Не витал в поднебесье над этими многими водами чистый и ветхий дух тайны, заставляющий в детском изумлении перед красотой вопрошать ежедневно и ежечасно: как, зачем, с каких пор, откуда это взялось и продолжает браться? Перестала трепетно и пламенно, обмирая от глубины, биться душа над пропастью времени, и ушло, закрылось прочной крышкой ощущение вечности. Все здесь было понятно – и как, и зачем, и с каких пор, и с какой целью.

Ветер натягивался, смелел, покачивало уже не на шутку. Но чайки все так же, то садясь, то снова взмывая, продолжали лететь за теплоходом. Только крылья их стали как бы короче и махали они ими чаще, с видимым усилием преодолевая ветер.

Последние часы перед прибытием были особенно тягостны. Ветер к вечеру поутих, волна спала, море еще колыхалось, но как-то лениво и бессмысленно, больше напуская на себя морской форс. Небо выстоялось и посинело, солнце сходило под уклон чистым, ровно горящим кругом. Чайки за кормой уже и не летели, а плыли в воздухе, изредка вздрагивая крыльями. С вязким, замедленным звуком шумела за бортом вода, вяло трепыхался наверху флаг, утихли по своим углам ребятишки, весь день с нарочитым, громким топотом бегавшие по гулкой палубе, – все вокруг выравнивалось в общем большом ожидании всякого разного: темноты, отдыха, пристани, новизны.

Прежде Виктор наизусть знал места, мимо которых сейчас плыли. Начиная с пятого класса он учился в райцентре, в пятидесяти километрах от дома: ближе средней школы тогда не было. На зимние и весенние каникулы добираться в деревню много раз приходилось пешком – машину за ним, конечно, никто не посылал, а попутки в эту сторону выпадали редко, а

если и выпадали, то недалеко. Сейчас и самому с трудом верится: 12-летним мальчишкой он за день отмахивал все пятьдесят километров. Шел и вел свой счет: десятая часть дороги позади, шестая, четвертая, третья... стараясь обмануть себя и оставить впереди побольше километров, чтобы потом, когда он совсем устанет и будет двигаться медленно, они таяли сами собой.

Но теперь он ничего не узнавал. Даже по заливам вдоль речек, по распадкам невозможно было определить, где и что. Все сошлось и размылось в одной длинной и отчужденной картине тайги. Что удивительного: он ходил тогда не по чаще – по дороге, а дорогу ту унесло водой. Приходилось ориентироваться только по времени, указанному в расписании.

Оставалось час, полчаса, затем и того меньше.

Пора было собираться. Виктор уложил чемодан и в последний раз выглянул в открытое окно. Теплоход заметно прибавлялся к берегу, который по-прежнему был заперт глухой стеной леса. Даже тут, на подступах к родной деревне, ничто не отзывалось сердцу, бившемуся в сладостном и тревожном волнении, ничто не откликалось на его зов, словно Виктор ехал сюда впервые.

Он попрощался с проводницей, которая пришла, чтобы вернуть ему билет, и спустился вниз. В проходе по правому борту уже толпились с вещами пассажиры. Виктор встал с краю, у барьерчика, чтобы видеть берег. Далеко впереди показались штабеля леса, перед ними широким рукавом уходил в тайгу залив. И сразу, как только оттянулся назад гребень горбатого мыса, открылась площадка, к которой сбегались люди, и за деревьями засветились крыши домов. Теплоход дал гудок и круто повернул к берегу.

И странно, Виктор еще не сошел с теплохода, а тот для него уже не существовал, он как бы отдалился, померк. В душе была звонкая горячая пустота: от одного состояния он уже отказался, другое еще не наступило. И гулко и нетерпеливо стучало в голове, выдавая волнение. В толпе, собравшейся на берегу, он стал узнавать знакомых, среди ребятишек отличил своих племянников, двух светлоголовых, коренастых мальчишек, на лицах которых, как и у него, явно проступало далекое, но непобедимое из рода в род тунгусское происхождение. В сторонке, надвинув, как всегда, кепку на глаза и засунув руки в карманы, стоял отец. К нему подскочили племянники, стали что-то наперебой говорить и показывать руками на теплоход – отец встрепенулся и подошел ближе, туда, где уже опускался на землю трап.

– Что ж ты не написал, – радостно и быстро заговорил он, когда Виктор сошел и они обнялись. – Мы и не ждали. А мать-то, мать-то сном-духом не чаёт. Ну, сейчас засуетится.

За разбитой тракторами, широко растянутой дорогой они взяли влево и пошли через оставшийся у берега кусок леса. По обглоданным и примятым кустам голубицы и жимолости Виктор узнал его: тропинка к ягоднику начиналась прежде у кладбища и недалеко отсюда сходилась с дорогой на елань. Вон куда поднялась вода: до старого берега здесь было никак не меньше километра – да еще в гору. Где-то тут же, он помнил, стояла тогда пустошка из молодого, на редкость густого ельника, сквозь который продаться можно было только чуть ли не ползком и в котором высыпали самые первые рыжички. Виктор осмотрелся, но пустоши, конечно, не нашел.

Среди деревьев бродили телята, рылись свиньи, почему – то все пятнастые, похожие одна на другую; вышагивали, высоко поднимая ноги, курицы. Отец шел сбоку; Виктор заметил, что походка у него стала совсем стариковской, тяжеловатой, он двигался, приседая больше обычного, выкланиваясь вперед. В прошлом году у него замкнулся шестой десяток – не шутка.

– Надолго приехал? – осторожно спросил отец.

– Не знаю еще. Поживу.

Он и в самом деле не мог сказать, надолго ли. Как получится, загадывать сейчас не стоит. Лето у него было свободно, и он втайне надеялся, если все пойдет хорошо, полностью провести его здесь, отдохнуть. Через месяц у жены отпуск, и тогда они с сыном тоже могут приехать сюда – на чистый воздух, на парное молоко, на свежую зелень и ягоды. Виктор поможет отцу

с матерью накосить сена и дождется августа, когда полезут грибы, – он не знал большего удовольствия, большой радости, чем выйти с корзинкой сразу после утренней росы в лес, в те особые, хорошо известные ему заповедные места, которые облюбовали рыжики или грузди, и, нацелившись, насторожившись, в подступающем горячем азарте уже с опушки сделать первый широкий огляд.

Они вышли на улицу и стали подниматься по ней вверх. Виктор с интересом осматривался. Какая уж тут деревня – перед ним был большой рабочий поселок. В ту и другую стороны несколькими длинными порядками уходили ряды домов, всюду дымила труба какого-то явно производственного назначения, под ней краснело приземистое здание кирпичной кладки.

– Сколько же у вас теперь здесь улиц? – спросил он у отца.

– Улиц? – Загибая пальцы, отец стал считать: – Внизу – Набережная, у поля – Нагорная, где школа стоит – Школьная. Наша – Криволуцкая, тут из Криволуцкой деревни больше живут. А еще есть Почтовая – по почте. Пять или шесть. Сначала каждая деревня своей улицей строилась, а теперь все перепуталось.

– И много всего народу?

– А шут его скажет. Я, почитай, половину не знаю. Хозяев еще знаю, кто своим домом живет, а тут теперь полно вербованных. Эти сюда едут, обратно бегут, их не упомнишь.

На тротуаре везде лежали собаки. Они лениво приподымали головы, смотрели навстречу задумчивым, оценивающим взглядом, но с места не двигались, и их надо было обходить. Коровы захватили мелкие, запущенные канавы вдоль тротуаров. У ворот стояли люди, вышедшие посмотреть, кто пройдет с теплохода; Виктор здоровался со всеми подряд, знакомыми и незнакомыми, ему отвечали и спрашивали у отца:

– Сына, значит, дождался, Степаныч?

– Дождался, – говорил отец.

С одной улицы они свернули на другую, перешли на противоположную сторону. Отец приостановился:

– Узнаешь?

Нет, он не узнал свою избу и, будь один, наверное, прошел бы мимо. Она показалась ему теперь совсем маленькой и старенькой, с полуслепыми, как в зимовье, окошечками, с почерневшими, потрескавшимися бревнами в стенах и нелепо торчащими неровными углами. Но это была она, и теплое и горькое чувство благодарности и вины нахлынуло на Виктора и сжало его сердце.

– Что это вы гостей не встречаете? – крикнул отец.

– Каких гостей? – услышал Виктор испуганный голос матери из сеней и побежал на него.

* * *

Через час уже сидели за столом. Собрались все свои: отец, мать, дядя, или, лучше сказать, Николай, брат отца, которого Виктор дядей никогда не называл, потому что тот был старше Виктора всего на каких-то пять лет и у них с детства установились и приятельские отношения; жена Николай – Настя, женщина удивительно спокойная и добрая, с чуть тяжеловатым от излишней доброты лицом; их ребяташки – Санька и Генка, встречавшие Виктора на пристани и неожиданно оказавшиеся вовсе никакими не племянниками ему, а двоюродными братьями; Галина, по родственному узелку тетка Виктору, которую он теткой тоже не называл, хоть она была старше Николай; Галину раньше знал весь район, она получила орден за колхозный огород, а теперь, оказывается, работала уборщицей в школе. Бабушка к столу не пошла, осталась сидеть у себя на кровати, куда ей подали чай, и она пила его вприкуску с пиленным сахаром, привезенным ей Виктором из города, и внимательно прислушивалась к разговору, изредка вступая в него и опять умолкая, чтобы заняться чаем.

Отец разливал водку и рассказывал, как Санька с Генкой первыми увидели на теплоходе Виктора и побежали к нему, а он долго не мог понять, о чем они трещат, потому что никто сейчас Виктора не ждал.

– А я знала, что он в этом году приедет, – заявила мать. – Может, на первый пароход не надеялась, а вообще все равно знала.

– Откуда ты знала?

– Оттуда. Знала и знала.

Она сильно постарела и сгорбилась, и Виктор смотрел на нее растерянно, с нежной и печальной недоверчивостью: неужели это она, его мать? Что с ней случилось? Да и отец тоже... У отца за ушами появились глубокие впадины, обозначив череп, голова выглядела по-детски маленькой, сухое лицо полностью исчертили морщины. И только бабушка, казалось, не изменилась, словно ей стариться дальше было уже некуда и она уперлась в какую-то последнюю невидимую черту, за которой на этом свете нет продолжения. Виктор поймал себя на том, что испытывает к этим родным, самым близким ему людям странное чувство любви и отчуждения, сопротивления им, их старости, их движению в извечную человеческую сторону, куда на невидимой и молчаливой неослабной цепочке они невольно тянут и его. И уж мерещилось, верилось ему, что он приехал сюда только затем, чтобы понять, как далеко он продвинулся вслед за ними, где, на какой отметке теперь находится, и попросить, уговорить их, чтобы они не торопились.

Разговор больше всего шел о старой деревне, о том, кто куда из нее уехал, как сложилась их судьба. Вспоминали колхоз, в котором жили бедно, но весело и дружно, вместе сходились в рабочем азарте, когда подступала страда, и вместе сходились в обмане, утаивая сотки от налогов, когда приезжал кто-нибудь переписывать огороды, или ссылаясь на болезни, когда дальше тянуть с личным сенокосом было нельзя. И, разбереженная, растравленная воспоминаниями, всхлипнула Галина, пожаловалась:

– При колхозе я хоть человек была, а теперь...

– Ну и ехала бы с колхозом, – сказал Николай.

Она с неожиданной злостью огрызнулась:

– А ты почему не поехал?

– Мне не надо. Мне и здесь хорошо.

– Ну и мне не надо. Куда я от своих? Хотя моя судьба такая была: на земле работать, а не грязь за ребяташками каждый день подтирать.

– Ага, – вдруг громко и радостно заговорила бабушка с кровати – радостно потому, что вспомнила, не забыла вставить кстати. – Вот Лукея уехала и году не прожила. Это как? А если бы ее не трогали? – И уже очнувшись, отрезвевшим голосом, с болью и стоном сказала, обращаясь к одному Виктору: – Померла ведь Лукея-то, царство ей небесное, померла. Все, сказывают, тосковала, обратно просилась. Тут хоть елань своя, а там все до капельки чужое. Она и не вынесла. Сильно, сказывают, плакала перед смертью.

– А как вода поднималась? – стал спрашивать Виктор. – Сразу или как обычно прибывала после дождей?

Они помолчали, собираясь с воспоминаниями и медленно погружаясь в то недалекое, но важное, переломное для всех для них время, когда это случилось.

– Ты думаешь, валом? – заговорил отец и покачал головой. – Нет. Но ходко. – Он еще помолчал. – А я перед тем все спускался туда. На бережку посижу, по улице, где избы стояли, пройдусь...

– Тянуло, – подтвердил Николай. – Я тоже ходил. Она ругается, – он кивнул на Настю, – то, се надо по дому, а меня туда манит. Уж знали, что вот-вот будут затоплять. Жалко. Вроде как прощаться ходили. С работы приду, поем – не поем, а уж под гору надо. Воровски убегу и

прячусь где-нибудь. Видишь: в одном месте наш бродит, в другом... Дядю Егора Плотникова Мишка каждый день матом оттуда выгонял. Сядет и сидит, ночь – не ночь, он как пристынет.

– Ага, – вскинулась бабушка, слушавшая до того с нетерпеливо-мучительным напряжением на лице. – А мертвых утопленниками сделали – это как? Они уж померли, а с ними все равно не посчитались. Это как?

– Да что уж сейчас про мертвых говорить...

– А пошто не говорить?! Там твоя бабка лежала. Все наши там лежали. А теперь где их искать, под каким берегом?

– Ну вот, – стал продолжать отец. – А в последний раз так было. Только с горы спускаться, гляжу: река уж взбучилась, кипит. Я скорей туда. Боюсь, не утонуть бы, а ноги несут, не удержишь. До дороги добежал, а вода с другой стороны, как раз до нашего двора дошла. И лезет, лезет, глазом видно, как лезет. Я отступаю от нее, но смотрю, не убегаю. Сор подняло, какой был, угли, крапиву, лебеду теребит. До избы докатилась, где изба наша стояла, и воронкой давай крутить – в подполье, значит, кинулась. Пока смотрел, оглянулся, а она уж меня со стороны обошла, уж брести надо. На первую гору за Егоровым огородом залез, вижу, народ из деревни бежит. А сначала один был, никого больше, первый ее, холеру, встретил.

– А мы в тот день на покос ходили, – вспомнила Настя. – Ты был тогда, нет ли? – повернулась она к Николаю.

– А кто с тобой, интересно, еще был, если не я? Может, Степка-казак на нашу корову косил?

– А, был, был. Туда утром ушли – все ничего, обратно к речке подбегаем – батюшки вы мои! – это что ж такое на белом свете деется! Мостик через речку сорвало, он посерединке плавает, а вода по траве – ш-ш-ш – так и шумит, так и шумит. Как домой попадать? Полезли мы опять в гору. Далеко-о пришлось обходить, до старой верховской дороги дошли – нигде больше не перебраться. Бегу и боюсь: а ну как все на свете этой водой затопило – и старую деревню, и новую. Он, – на Николая, – на меня кричит: дура да дура. А что дура? Ежели никогда такого не бывало, поневоле испугаешься. Откуда что знаешь? Долго ли ошибиться, кто эту воду пускал. Потом ее разве остановишь? А там ребятишки – конечно, сердце не на месте. В потемках уж на поля выскочили – слава Богу, живы наши избенки, стоят. А там, где старая деревня была, вода блесит.

– В первый год она только на нижнюю гору поднялась и приостановилась. Прибывала, но так, потихоньку. На другое лето дальше полезла.

– А вот точно все-таки сказали, докуда дойдет. Умеют распознавать. Гришка Суслов огород свой ниже отметки пустил, и пол-огорода затопило.

– Зато теперь рыбы полно, – сказал Николай.

– Много рыбы? – обрадованно переспросил Виктор.

– Много. Только какая рыба: окунь, сорога, щука. Щуки здоровые есть, как бревна. А мясо у ней уже не то, правда что как деревянное, и тиной отдает. У нас их даже свиньям скармливают.

– А хариус, ленок?

– Откуда? Это чистая рыба, и вода ей нужна чистая, проточная. За харюзом теперь надо в верховья Илима идти. Ходят, есть такие. Если долго проживешь, можно договориться с кем-нибудь. Вот хоть с дядей Егором Плотниковым, тот ни окуня, ни сорожину эту не признает. Ему старую рыбу подавай, чистопородную. А мы уж и вкус ее стали забывать, какой она была. Теперешняя есть – и ладно.

– Сколько погостишь-то у нас? – спросила мать.

И опять Виктор ответил неопределенно:

– Не знаю. Пока не надоест.

Эту ночь он спал в небольшом дощатом пристрое к сеним, приспособленном под кладовку. Тут было прохладно, остро пахло затхлой горечью и овчиной, где-то в углу скреблись мыши, и все равно сон его, как в детстве, был полным и глубоким. И проснулся он от утра – от кудахтанья куриц во дворе, от сытого, терпеливого мычания коровы, от бодрого чирикания воробьев, от солнечных лучей, бьющих сквозь щели в кладовку, – проснулся и, вспомнив, что он в деревне, радостно встрепенулся.

Он вышел на крыльцо и постоял там, давая привыкнуть глазам к яркому солнечному свету. Утро казалось удивительным – ясным и чистым, все в нем было на виду и все вызывало волнующее ощущение простора и первозданности, будто только что, час или два назад, на смену прежним выступили свежие, совершенно новые краски. В небе дотаивали после ночи прозрачные, изогнутые, как крылья, редкие белые облака, мягко всплывало в высоту, наливаясь теплом и страстью, солнце, воздух, нагреваясь, слабел, размыкался и парил, за огородами близко, широким полукружьем вздымался лес, а с другой стороны, за крышами домов, сверкающей под солнцем бездной покоилась вода.

Со двора вышла мать с подойником, оттягивающим руку. Увидев Виктора, мать удивилась:

– Ты куда так рано встал? Ложись еще, поспи. У нас в эту пору только хозяйки подымаются.

Виктор по-прежнему шурысь от солнца, улыбнулся и не ответил. Спать он сейчас все равно бы не смог. Утро, раннее по часам, но уже поспевшее, полное, вызывало редкое и пьянящее чувство соучастия в нем, в его скором и счастливо удавшемся наступлении, и от чувства этого, как от всякого доброго дела, становилось радостно и чутко на душе, хотелось нового, столь же большого и необыкновенного дела и нового удовольствия от него.

Сам не зная, за что ему взяться и к чему прикоснуться, он пошел в огород, скинул у ворот тапочки с ног и босиком зашагал по черной, недавно поднятой, холодной земле. Пахано было плугом, на поперечных межах еще не затянулись зеленую следы копыт и круги от плуга, когда его переводили из борозды в борозду. Посреди огорода стояли две листовницы, которые отец, видимо, не решился тронуть, одна из них еще зеленела, вторая торчала сухостоиной. На длинной огуречной гряде топорщились в лунках крепкие, шершавые ростки. Картошку еще не сажали, и Виктор с удовольствием подумал, что не минует нынче эту простую, бесхитростную работу, как не минует и многих других крестьянских работ, полузабытых в деле и оттого кажущихся еще более привлекательными.

Потом ему было приятно, сидя на крыльце, бросать курицам зерно и наблюдать за их голодной суетой, которая по мере насыщения превращалась в задиристую и шумную игру. Среди куриц прыгали воробьи, безбоязненно выхватывая корм из-под самого куриного носа, то и дело вспархивая и тут же опускаясь обратно. Из закутка за амбаром вывалилась свинья, разогнала и куриц и воробьев и завозила своим носом, как магнитом, втягивая вместе с остатками птичьего корма землю.

Виктор решил пойти в лес.

Он выпил стакан парного молока, но не стал ничего есть: мать растопила русскую печь и гоношила пирожки. За завтраком, чтобы угодить ей, надо было постараться, так что не стоило перебивать аппетит.

По проулку, забитому лежащими коровами, он неожиданно попал за огородами на аэродром. Сбоку, на выходе из деревни, стоял большой новый дом с белым опознавательным крестом на крыше и со сходящимися на верху высокой мачты антеннами радиостанции. Посадочное поле, переименованное из поля хлебного, красиво и ровно было размечено белыми столбиками. Но и здесь лежали коровы. Вдоль аэродрома с верхней стороны была вырыта канава, отводящая от него талые воды с горы, но стенки ее осыпались и канава давно вихляла, норовя пробить свой, удобный ей путь для воды. Сразу за ней начиналась сосновая пустошка,

где когда-то было полным-полно маслят. Но маслята тогда за грибы не считали, так разве, на жареху-другую свеженьких набрать, а потом на них никто и не смотрел, подходили рыжики, грузди. И вообще от незнания ли, или от великого богатства все остальные грибы называли поганками и не брали их. И правда, рыжиков на всех хватало, их солили на зиму огромными кадками, а гриб этот до самой весны остается твердым и запашистым.

Виктор хотел пойти по пустошке, он знал здесь каждый угол и отдельно помнил многие деревья. Но оказалось, что идти по ней невозможно, она лишь со стороны сохраняла видимость леса, с нижнего края, а внутри была почти полностью вырублена. Слишком близко стояла она от новой деревни, где городили огороды, ставили стайки, и это ее погубило: сосенки извели на жерди, на следи. На земле черными завалами, через которые не пробраться, лежали сучья, пожухла и вросла внутрь хвоя под ногами, торчали остренькие высокие пеньки. Кое-где виднелась и свежая работа: то, что подрастало и годилось для дела, в дело под скорым топором и шло. Виктор успокоил себя: зато там, откуда снялись деревни, перебравшись сюда, лес больше трогать некому – даже на веники, на могильные кресты и новогодние елки. А здешнему такая, видно, выпала судьба – никуда теперь от нее не денешься.

Он долго поднимался в гору по опушке, часто оглядываясь и ожидая, когда скроется деревня. Но край ее все время был виден, с нижней стороны он сходил с водой, открывающейся отсюда так широко и богато, что невольно хотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, не снится ли это ему где-нибудь в глухую недобрую ночь с тоски по родным местам. Потом опушка кончилась, он повернул вправо и вышел на тропинку, но, пройдя немного, бросил ее: рядом с тропинкой припарилась неизвестно откуда взявшаяся тракторная дорога, по обочинам которой, как заборы, валялись стасканные в кучи деревья с высоко торчащими необрубленными ветками. И он пошел просто так, куда глаза глядят и где удобней идти, всюду натываясь на знакомые, памятные ему уголки. Вот здесь, под этими черемуховыми кустами, вылезало столько сырых груздей, что их можно было брать каждый день; вот здесь он, впервые осмелившись, прижал рогаткой змею к земле и притащил ее в деревню, выставляясь перед девчонками; а вот здесь они, ребяташки, ставили шалаш – деревянный почерневший клин до сих пор еще торчал в сосне. Он останавливался, подолгу стоял, внимательно, с какой-то излишней пристальностью и дотошностью вглядываясь в траву, в деревья, словно пытаясь установить важную для себя связь с собой же, каким он был в те годы, – и отходил ни с чем.

Потом он неожиданно набрел на лужайку, которую почему-то не помнил, не знал о ее существовании, точно она появилась здесь после него. Это было уже далеко от деревни. Он шел без дороги, надеясь, что наткнется на тропинку и начнет потихоньку спускаться вниз. Мать, наверное, теперь беспокоится, а пирожки остыли. В раздумье он не сразу заметил, что из невеселого, в колодинах, леса попал совсем в другой мир.

Здесь было просторно, светло и празднично. Раздвинувшись, чтобы не застить друг друга свет и не тянуть друг у друга влагу из земли, важно и фасонисто, как барыни-боярыни, стояли полные и пышные березы с широко раскинутыми, свешивающимися вниз тяжелыми ветками. Листья на них были еще клейкие, как чешуя, и нежные, с тонкими, бледными прожилками, каждый по отдельности листочек представлялся знобко-притаившимся, пугливым, а все вместе они вызванивали длинную и счастливую песнь покоя. Кружась перед глазами, пятнистые стволы берез, омытые весной, вызвали смутное и далекое, блаженно-скорбное томление, то озаряющееся внезапной вспышкой, когда чудилось, что вот-вот оно откроется и назовет свою тайну, то снова покрывающееся туманом. В узорных корявинах и царапинах стволов собирались и обрывались вниз капли сока. Внизу струилась и плавилась тень от берез и цвели подснежники; от невысокой и ровной, будто подстриженной, травы, над которой гудели шмели и порхали бабочки, шел густой, терпкокомедяной дух и веял вздымающимися волнами тихий, молитвенный шелест. И далеко-далеко, дразня и пугая, обносил своим гаданием звонко-равнодушный голос кукушки.

И так хорошо, так сладостно-жутко от жизни и солнца, так удивительно и счастливо было здесь, что от этого невыразимого, несусветного счастья хотелось плакать.

После обеда мать, загремев ведрами, собралась за водой. Виктор окликнул ее:

– Куда ты? Полный бак вон воды. Куда еще?!

– Ой, Витя, – махнула она рукой на бачок. – Я хочу самовар поставить, а эта вода на чай нехорошая. Она из скважины, какая-то сильно жесткая. Голову, например, ею нельзя мыть, потом никаким гребнем волосы не раздерешь. На варево мы ее еще берем, а на чай с реки таскаем, хоть и далеко.

Виктор успел заметить: когда дело касалось воды, которую можно набрать, принести, в которой можно купаться, ловить рыбу, здесь говорили «река»; когда же речь заходила о движении по этой воде, увеличенном во много раз по сравнению с прежними расстояниями, говорили «море», хотя в действительности это было ни то ни другое, у этого понятия имелось свое точное слово – «водохранилище», но уж больно оно было громоздким и неповоротливым, язык, произнося его, казалось, перемалывал валуны.

– Что я – воды не принесу? – обиделся Виктор. – Сказала бы.

– Ну, сходи, если охота. Я думала, ты устал, набродился уж где-то сегодня.

– Как идти-то, чтобы поближе?

– Вот по этому заулку. Прямо и прямо, пока не упруешься.

Он подцепил ведра на коромысло и, позванивая ими, вышел на улицу. Тянул ветерок, но все равно было жарко; лето нынче начиналось каленое, пора бы уж взойти, показаться дождям, поддержать ту влагу, которая еще оставалась в земле. Здесь не пашут и не сеют, а лес валить можно в любую погоду, но и здесь по привычке думают о хлебе, о тех, кто пашет под него и сеет, и здесь держат огороды и косят сено.

Набрать воды оказалось непросто. У берега хлюпала волна, и вода была красной, глинистой – такую обычно несет весной с полей. Виктор потоптался, потоптался возле лодок, которыми был заставлен берег, зашел в одну, другую, черпая с кормы и выплескивая обратно, – эту воду не то что пить, на огурцы добрая хозяйка посовестится выливать. Что же делать? Не возвращаться ведь с пустыми ведрами обратно? Виктор стал раздеваться и не заметил, как сзади к нему подошел мальчишка.

– Купаться, дядя, будете? – спросил он.

Виктор недовольно обернулся: вот уж готов и первый свидетель, очевидец того, что он не умеет из реки, из моря, из водохранилища, из всего сразу набрать обыкновенной воды. Не все же они тут для этого раздеваются догола, наверное, как-то обходятся по-другому.

– Купаться, – ответил он. – У вас здесь поневоле начнешь купаться.

Он подхватил ведро и пошел в воду. Под ногами, как каша, поползла тина, и, поскользнувшись, он чуть не упал. Это его обидело еще больше: вот и пойми, действительно, что творится? Дальше он уже с трудом вытягивал из этой засасывающей внутрь каши ноги, но упрямо лез вперед.

– Не-е, – крикнул ему с берега мальчишка. – Надо на лодке.

Виктор все же зачерпнул то, что перед ним было, и, подталкивая ведро впереди себя, кое-как выбрал обратно.

– На лодке надо, – повторил мальчишка. – Этой водой подавиться можно.

– На какой еще лодке? – Виктор стряхивал с себя приставшие соринки и со страхом и безгласностью наблюдал, как все тело покрывается мелкими, игольными точками грязи.

– Вы к дяде Петру Степановичу приехали? – спросил мальчишка.

– Да.

– Ваша лодка на замке. Вот там она. Можно на нашей.

– И куда?

– Туда, – мальчишка показал в море.

– Вы что же – в лодках теперь за водой ездите?

– А на чем больше?

– И всегда так?

– Не-е, зачем всегда. Если чистая, отсюда берем. Это ветер вчера взбаламутил. Теперь к завтраму то ли отстоится, то ли нет.

– Взбаламутил, – передразнил его Виктор. – Ну что ж, поплыли – где твоя лодка? Лодка-водовозка.

Мальчишке было лет десять-одиннадцать. Плечи его и шея успели загореть до черноты, но из-под майки выглядывал совершенно белый живот. На подвижном курносом лице глаза бегали быстро и деловито, сразу схватывая то, что нужно. Но самой важной отметиной мальчишки были краснеющие на руках цыпки, которые Виктор разглядел, когда мальчишка вставлял в гнезда уключины весел. Давно он не видел ребятишек с цыпками, теперь это аккуратный стал народ, и обрадовался им как старым знакомым, с которыми когда-то расставался редко. О, цыпки, цыпки, детки воды и грязи, скулящие по ночам даже под гусиным салом с бесконечной голодной требовательностью, так что не разжать без боли рук и не двинуть ногой, а утром как ни в чем не бывало снова готовые на любые приключения. Как же без цыпок? Есть, есть, значит, на свете мальчишки – не одни только мальчики.

Они отгребли от берега метров на сто, и Виктор достал наконец воду, которая по затраченным усилиям вполне стоила живой. В ней, правда, тоже что-то плавало, чернело, крутилось, но это уже не имело никакого значения.

– Купаться будем? – спросил мальчишка.

– Купаться? – Виктор задумался. – А не рано?

– Не-е, вода теплая. Я в этом году уж три раза купался.

– Ну, если не боишься, давай. А мне так даже и полезно сейчас обмыться.

Виктор первым бросился в воду, мальчишка нырнул вслед за ним. Вода обожгла, но скоро Виктор понял, что она действительно терпима, по крайней мере, гораздо теплей той, что была в реке. Течения нет, нагревается быстро. Ребятишкам теперь приволье, а они раньше из реки бежали к разведенному на берегу костру.

– Туда, – закричал мальчишка, показывая рукой в сторону торчащих из воды верхушек деревьев.

Они поплыли рядом. Двигался мальчишка быстро и легко, он переворачивался на спину, переваливался на бок, опять переходил на «саженки», демонстрируя перед Виктором все свое мастерство, и видно было, что плыть так он может долго. Виктор уже отставал. Вот, пожалуйста, и преимущество моря: в теплой воде можно научиться как следует плавать. В реке больше пяти минут вынести было трудно.

Они уже подгребали к деревьям. Мальчишка взобрался на сосну, Виктор недалеко от него – на березу. Она согнулась под ним, но выдержала. Вот и второе преимущество: кто прежде мечтал о таких пунктах отдыха среди воды?

– Вы только не ныряйте там, – предупредил мальчишка. – Там где-то под водой елка стоит. Мишка Жуков в прошлом году нырнул и весь бок себе распорол. Кровищи было... Мы его кое-как к берегу приплавили – так красный след сзади и тянулся.

– Ну и что? Живой этот Мишка?

– Живой-то живой. Но бок у него тоже как елка стал. Ему операцию делали.

– Как тебя зовут? – спросил Виктор.

– Филипп.

– Филька, значит?

– Ну, можно и Филька. Только я не люблю, когда так называют. Вроде прозвища. Филипп лучше.

Виктор засмеялся:

- Серьезный ты человек.
 - А что? – не понял мальчишка.
 - Хорошее у тебя имя – вот что. Не вздумай его менять, когда вырастешь.
- И потянулись дни – ясные, солнечные и долгие.

Виктор никак не мог привыкнуть к тому, что он уже приехал, ему казалось, будто он все еще в дороге и остановился где-то неподалеку от родной деревни, настолько неподалеку, что иногда вдруг нечаянно можно выйти к знакомым местам, памятным по детству и прежним наездам, окунуться в их таинственный и заветный дух и почувствовать в себе чистое и трепетное волнение, отзывающееся на их близость. Он был рядом и все-таки в стороне, и там, где он теперь находился, висело другое небо – однобокое и неровное, сильно смещенное в один край над водой; лежала другая земля, в редкие сокровенные минуты напоминающая ту, на которой он рос, и все же чужая и неясная; гнулись под небом другие горизонты и стояло в центре всего этого другое село – большое, пестрое и шумное. Он готов был поверить, что приехал сюда не вовремя – или слишком поздно, или рано, но не в свой час, затерявшийся неизвестно где по ту или другую сторону от этих дней.

Он много бродил по лесу; ему было приятно идти, окуная ноги в траву, убирая от лица тяжелые тугие ветви и жадно, с какой-то особой обостренностью прислушиваясь к разногласию птиц, к перестуку заходящихся в дробь дятлов, к шелесту листьев; на его душу упал мягкий блаженный покой, убаюкивающий все тревоги, но чувство это, он знал, могло возникнуть где угодно, в каком угодно лесу, а не только здесь, в нем не было того единственного, неповторимого более, страстного и глупо-умильного отзвука, который вызывают родные места. Лишившись чего-то главного, основного, какого-то центра, собиравшего их воедино, в один круг, они разбрелись кто куда, превратились в отдаленно-знакомые, постаревшие от времени уголки и казались всего лишь воспоминаниями, которые также могут явиться где угодно.

На третий день после приезда он поплыл с Николаем на рыбалку. Они остановили лодку среди затопленных деревьев, наживили на крючки червей и тут же, у борта, с одной и другой стороны лодки спустили в воду утяжеленную грузилом капроновую нить, оставив конец ее в руках. Вся хитрость заключалась в том, чтобы время от времени поддергивать эту нить, показывая червяка и подсекая рыбу, отчего такое приспособление и называлось дергалкой. Не прошло пяти минут, как Николай вытащил первого окуня. Затем и Виктор почувствовал, как заходила под рукой леска, и стал торопливо выбирать ее. За час они вдвоем набросали в лодку больше ведра окуней. Это была почти механическая работа: опустить леску, подождать, поддернуть, еще подождать, еще поддернуть коротким рывком, ощутить отчаяние обманутой рыбины и вытащить ее на воздух. Азарт, охвативший поначалу Виктора, быстро прошел, а ожидание, нетерпение, мучительное и сладкое отчаяние, без которых и рыбалка не рыбалка, не успев назреть, лопались и исчезали, не доставляя обычного в таких случаях наслаждения.

Он помог матери посадить картошку, с удовольствием поливал по вечерам огурцы. Но чаще все-таки не знал, как справиться со временем, и снова и снова шел в лес.

Раза два или три, задумавшись о чем-нибудь, он останавливался посреди села в растерянности и удивлении: где это он, куда забрел? Вокруг стояли незнакомые дома и шли незнакомые люди, которые не имели с ним никакой связи, – приходилось делать над собой усилие, чтобы припомнить, почему он здесь, но и припомнив, разобравшись, найдясь, он все равно испытывал смутное недоумение: ну да, теперь ясно, что тут такое и как он сюда шел, но неясно, зачем он сюда шел, что ему здесь было нужно. И, торопясь, он поворачивал обратно. Он убеждал себя, что надо подождать еще несколько дней, чтобы привыкнуть, сойтись со всем, что его окружало, в полном понимании и близости, совместить в себе то представление о деревне, которое жило в нем все эти годы, с картиной, которую он здесь увидел, но дни шли, и ничего не менялось. Он знал, что сам виноват в этом, и все-таки не мог с собой ничего поделать.

И он сдался. Оставшись однажды с матерью наедине, решительно объявил:

– Со следующим теплоходом я поеду.

Она вскинула на Виктора испуганные глаза, долго смотрела на него, не зная, как быть, и сказала:

– Места себе не находишь?

Он согласился:

– Не нахожу.

Через два дня после этого он уезжал. Мать и отец молча и подавленно ждали, чтобы проводить его на пристань; Виктор в последний раз зашел в избу попрощаться с бабушкой. Она с трудом поднялась с постели, заплакала и, плача, перекрестила его.

* * *

И опять теплоход. Взять каюту на этот раз не удалось: весь теплоход был забит туристами. Все остальные пассажиры забились по углам и выглядывали оттуда со страхом и любопытством, а вокруг смеялись, пели, бренчали, гонялись друг за другом, как дети, – теплоход более всего напоминал цыганский табор. Хорошо еще, что мать положила Виктору в дорогу какие-то печенюшки, а то бы пришлось голодать: ресторан был отдан только туристам, а буфет к этому времени они успели разграбить.

Виктор оставил чемодан у старушек внизу, вчетвером сбившихся на одной скамье, и бродил по палубе. Далекие берега были неподвижны, вода спокойной, и теплоход, продвигаясь вперед, создавал видимость медленного и важного встречного течения. Лето набралось, разгорелось еще больше, поднялось выше, по обе стороны от воды все было охвачено его ровным и светлым зеленым огнем.

Дни, проведенные Виктором в деревне, свернулись в один смутный, неразличимый клубок, успевший закатиться куда-то, и Виктор никак не мог поверить, что он уже возвращается обратно. Он пытался понять, что заставило его уехать, можно сказать, даже сбежать из деревни, но попытки эти были слабыми. Кажется, он не жалел, что уехал. Видимо, надо было уехать. Видимо, надо было уехать, чтобы повторить все сначала: сесть в городе на теплоход, любоваться по пути рекой, ее берегами и течением, проснуться на рассвете от странного скребущего звука и увидеть затопленные деревья, новые берега и новые деревни, удивиться и испугаться разливу воды – увидеть и испытать заново все то, что он уже видел и испытал в этой поездке, но быть самому другим человеком, более опытным и спокойным, хорошо и ясно представляющим, куда он едет и что там найдет.

И он знал уже, что так оно и выйдет, – должно быть, скоро.

1972, 2003

Пожар Повесть

*Горит село, горит родное...
Горит вся родина моя.*

Из народной песни

1

И прежде чувствовал Иван Петрович, что силы его на исходе, но никогда еще так: край, да и только. Он поставил машину в гараж, вышел через пустую проходную в улицу, и впервые дорога от гаража до дома, которую он двадцать лет не замечал, как не замечаешь в здоровье собственного дыхания, впервые пустячная эта дорога представилась ему по всей своей дотошной вытянутости, где каждый метр требовал шага и для каждого шага требовалось усилие. Нет, не несли больше ноги, даже и домой не несли.

И предстоящая неделя, последняя рабочая неделя, показалась теперь бесконечной – дольше жизни. Нельзя было вообразить, как, в каких потугах можно миновать ее, эту неделю, и уж совсем не поддавалось ни взгляду, ни мысли то существование, которое могло начаться вслед за нею. Там было что-то чужое, запретное – заслуженное, но и ненужное, и уж не дальше и не видимей самой смерти представлялось оно в эти горькие минуты.

И с чего так устал? Не надрывался сегодня, обошлось даже и без нервотрепки, без крика. Просто край открылся, край – дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось наперед, сегодня кончилось. Как завтра подыматься, как заводить опять и выезжать – неизвестно. Но оно и в завтрашний день верилось с трудом, и какое-то недоброе удовольствие чувствовалось в том, что не верилось, пусть бы долго-долго, без меры и порядка ночь, чтоб одним отдохнуть, другим опамятоваться, третьим протрезветь... А там – новый свет и выздоровление. Вот бы хорошо.

Вечер был мякотный, тихий... Как растеплило днем, так и не поджало и вроде не собиралось поджимать. Мокрый снег и по твердой дороге продавливался под ногами, оставляя глубокие следы; продолжали булькать, скатываясь под уклон, ручейки. В загустевших чистой синью бархатных сумерках все кругом в это весеннее половодье казалось затопленным, плавающим беспорядочно в мокрени, и только Ангара, где снег был белее и чище, походила издали на твердый берег.

Иван Петрович добрался наконец до дому, не помня, останавливался, заговаривал с кем по дороге или нет, без обычной боли, – когда то ли обрывалась, то ли восставала душа, – прошел мимо разоренного палисадника перед избой и прикрыл за собой калитку. С заднего двора, от стайки, слышался голос Алены, ласково внушающий что-то месячной телочке. Иван Петрович скинул в сенцах грязные сапоги, заставил себя умыться и не выдержал, упал на лежанку в прихожей возле большого теплого бока русской печи. «Вот тут теперь и место мое», – подумал он, прислушиваясь, не идет ли Алена, и страдая оттого, что придется подниматься на ужин. Алена не отстанет, пока не накормит. А так не хотелось подниматься! Ничего не хотелось. Как в могиле.

Вошла Алена, удивилась, что он валяется, и забеспокоилась, не захворал ли. Нет, не захворал. Устал. Она, рассказывая что-то, во что он не вслушивался, принялась собирать на ужин. Иван Петрович попросил отсрочки. Он лежал и вяло и беспричинно, будто с чужой мысли, мусолил в себе непонятно чем соединившиеся слова «март» и «смерть». Было в них

что-то общее и кроме звучания. Нет, надо одолеть март, из последних сил перемочь эту последнюю неделю.

Тут и настигли Ивана Петровича крики:

– Пожар! Склады горят!

До того было муторно и угарно на душе у Ивана Петровича, что почудилось, будто крики идут из него. Но подскочила Алена:

– Ты слышишь, Иван? Слышишь?! Ах ты! А ты и не поел.

2

Орсовские склады располагались буквой «Г», длинный конец которой тянулся вдоль Ангары, или, как теперь правильной говорят, вдоль воды, а короткий выходил с правой стороны в Нижнюю улицу, – словно эта увесистая буква не стояла, а лежала, если смотреть на нее сверху из поселка. Две другие стороны были, разумеется, обнесены глухим забором. В этот товарный острог вело с улицы два пути: широкие въездные ворота для машин и рядом проходная для полномочных людей. Справа от ворот, ближе к складам, стоял аккуратно встроенный и наполовину выходящий из линии забора, весело глядящий в улицу зеленой краской и большими окнами магазин с одним крыльцом на две половины – на продовольственную и промтоварную.

Нижняя улица и вправо и влево от складов застроена была густо: людей всегда тянет ближе к воде. И серьезный огонь, стало быть, мог пойти гулять по избам и в ту и в другую сторону, мог перекинуться и на верхний порядок. Почему-то об этом прежде всего подумал Иван Петрович, выскакивая из дому, а не о том, как отстоять склады. В таких случаях раньше прикидывается самое худшее, и уж потом и мысль, и дело начинают укорачивать размеры возможной беды.

С крыльца Иван Петрович кинул взгляд в сторону складов и не увидел огня. Но крики, которые слышались теперь отовсюду, доносились оттуда отчаянней и серьезней. Чтобы спрятать дорогу, Иван Петрович бросился через огород и там, выскочив на открытое место, убедился: горит. Мутное прерывистое зарево извивалось сбоку и словно бы далеко вправо от складов; Ивану Петровичу на миг показалось, что горят сухие огородные прясла и банька, стоящая на задах, но в ту же минуту зарево выпрямилось и выстрелило вверх, осветив под собой складские постройки. Снова послышались крики и треск отдираемого дерева. Иван Петрович опомнился: и что же, куда он с пустыми руками? Он бегом повернул назад, крича на ходу Алене, но ее уже не было, она, бросив избу, умчалась. Иван Петрович подхватил с поленицы топор и заметался по ограде, не помня, где может быть багор, и не вспомнил, перехваченный другой мыслью: что надо бы закрыть избу. Тут заплясали на стене всполохи огня, заторопили, и Иван Петрович, потеряв всякую память, кинулся тем же путем обратно.

На бегу он успел отметить, что зарево сдвинулось ближе к улице. История, значит, выходила серьезная. И столь серьезного пожара, с тех пор как стоит поселок, еще не бывало.

Иван Петрович обежал забор и от широких, распахнутых сейчас настежь ворот медленно пошел внутрь двора, осматриваясь, что происходит.

3

Загорелось, по всему судя, с угла или где-то возле угла, от которого склады расходились на стороны: продовольственные – в длинный конец и промышленные – в короткий. И те и другие стояли каждая сторона под одной собственной связью. И построено было так, и занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без остатка. Что до постройки, до того, чтоб с самого начала подумать о возможности огня, – русский человек и всегда-то умен был задним умом, и всегда-то устраивался он так, чтоб удобно было жить и пользоваться, а не как способней и легче уберечься и спастись. А тут, когда ставился поселок наскоро, и тем более много не размышляли: спасаясь от воды, кто думает об огне? Но что касается угла, где загорелось, здесь кто-то или, уж верно, злой случай, если не кто-то, умен был умом далеко не задним.

Сразу на две стороны и запластало. В продовольственный край огонь пошел по крыше, да так скоро и с таким треском, будто там поверху насыпан был порох. Этот край не успели закрыть шифером, который привезли уже по осени и сложили вдоль забора, где он лежал и теперь. А промышленный край стоял под шифером уже года два – одно дело, когда мочит ящики с банками или какие-нибудь там галеты-конфеты, и совсем другое – если под дождь попадут те же японские тряпки, за которыми в эти места приезжают аж из Иркутска и которые имеют какую-то особую цену еще и помимо денег. Но не шифер, конечно, помешал огню и в эту сторону кинуться по крыше, а что-то иное. Тут самое пекло было внутри крайнего склада, отсюда, на здравый взгляд, и могла начаться вся история.

Под шифером же стоял еще один склад – дальний в продовольственном ряду возле забора, тот, в котором держали муку и крупы.

Когда Иван Петрович, как-то кособоко, зигзагами подвигаясь, не зная, куда кинуться, шел по озаренному двору, только в двух местах начали сколачиваться группы: одна скатывала с подтоварника близ правого огня мотоциклы, вторая, мужиков из четырех или пяти, в другом конце разбирала на середине длинного порядка крышу – чтобы прервать верховой огонь. Их уже припекало близким жаром – мужики яростно кричали и яростно отдирали и сталкивали на землю черные от времени, ломающиеся тесины. Иван Петрович вспомнил про топор в руках – с топором к ним ему и следовало на подмогу – и, подбежав, заплясал внизу, отскакивая от обрывающихся досок и не догадываясь, как, с какого боку взбираться наверх. Совсем откатала ему голова, совсем ничего не шло на ум. И только когда увидел он, как кто-то, широко расставляя на два ската ноги, торопливо шагает по крыше от левого забора – туда и побежал, уже и не ругая себя словами, тут не до слов было, а словно бы вдыхаемым отчаянием кляня и опалая, под стать общему жару, себя за бестолковость. А ведь давно ли мужик как мужик был – одна шкура от мужика осталась.

Там, наверху, командовал Афоня Бронников. Иван Петрович, подбегая, услышал его голос, приказывающий кому-то спуститься поискать лом или, на худой конец, любую железяку под выдержку. И как-то легче сразу стало на душе у Ивана Петровича: хорошо, что Афоня здесь. Тут же был и еще один надежный человек – тракторист Семен Кольцов, мужик, правда, приезжий, но Ивану Петровичу приходилось с ним вместе работать, и он знал: человек надежный.

Афоня, увидев топор в руках у Ивана Петровича, обрадовался:

– Ну вот, хоть один умный человек нашелся! А то на пожар бегут как за стол – с пустыми руками.

Он поставил Ивана Петровича на край, выходящий во двор, и тот, недолго присматриваясь, принялся отбивать доски. С другого конца ската, от конька, стоя на чурке, соскакивая всякий раз с нее и передвигая колотушкой, как кувалдой, бил споднизу в крышу сам Афоня, посередине, и тоже топором, орудовал Семен Кольцов. Он успевал и здесь, и на другой стороне ската, обращенного к Ангаре, и, обычно малоразговорчивый, сдержанный, войдя в раж, круша

и кроша доски и слева и справа, что-то дико и беспрестанно кричал. Как ни занят, как ни употреблен был в деле Иван Петрович, он успел подумать, что так вот, вынося, выкрикивая себя из себя, может человек только бросаясь в атаку, бросаясь убивать или вынужденный разрушать, как теперь они, и что не придет же человеку в голову орать по-звериному, когда он, к примеру, сеет хлеб или косит траву для скота. А мы еще считаем века, которые миновали от первобытности; века-то миновали, а в душе она совсем рядом.

Когда Иван Петрович подскочил, раскрыто было до него метра на четыре. Вместе с ним стали подвигаться быстрее – и успели: огонь, скорым тропинчатым жором пробежавший по внутреннему скату, запнулся о пустоту, вымахнул вверх, вынудив их от крутого близкого жара присесть, но перекинуться через провал он уже не смог и развернулся и пошел добирать оставшееся в спешке позади сухое и податливое тонье. Задымились стропила, но не вспыхнули, а там, где пробовали вспыхнуть, накинута и забил телогрейкой Афоня.

И еще раз убедился Иван Петрович: отчаянная душа этот Афоня, свой, из старой дозатопной деревни парень, теперь уже не парень давно – мужик.

Снова принялись за дело, чаще и опасливей оглядываясь назад. Вернулся посланный за ломом парень и принес вместо лома новость: выкатили обгоревший «Урал». Мотоцикл «Урал» с коляской, за которым в леспромхозе гоняются больше, чем за «Жигулями». Парень был полужнакомый, теперь их много, понаехавших с разных сторон и поживших уже немало, но так и не ставших знакомыми. Возмущаясь, он вскрикивал:

– Ведь был же он, был, «Урал»-то! Для кого вот он был? Для кого его прятали?! Я у Качаева недавно спрашивал. Нету – говорит. А он уж тут стоял!

Афоня понужнул его:

– Ты лом искал – или что?!

– Нету. Ничего нету, – закричал парень. – Вы поглядите: бабы с ведрами понабежали, а водовозку найти не могут. С Ангары на коромысле таскают. На такой ад – на коромысле! Да это ж все одно, что встать в ряд и чихать на него. Ему это все одно.

И парень криком стал рассказывать, как он, прибежав одним из первых, пробовал пользоваться огнетушителями:

– Его ударишь, как надо, а из него один пшик. Пшик – и все. Ни пены, ни гангрены. Они то ли высохли, то ли выдохлись.

Он кричал из-за спин: Афоня заставил его держать позади все той же телогрейкой оборону. От этого прерывистого, прыгающего голоса среди этого без роздыху и разгиба дела было жутковато. Ивану Петровичу казалось, что он звучит и рвется не из человека рядом, давящегося дымом и жаром, а из самих стен. И после, в течение долгого и горячего вечера, перешедшего потом в ночь, когда слышал Иван Петрович голоса, что-то кричащие и сообщающие, чего-то требующие, все чудилось ему, что это стены, земля, небо и берега звучат человеческими словами – чтобы понятно было людям.

Выбив и столкнув вниз последнюю тесину, Иван Петрович оглянулся и огляделся. Пламя позади поднималось высоко, жарко, освещая двор и широкими взмахами отблесков прыгая по крышам ближних домов. По двору молча и ошалело носились ребятишки, у промтоварных складов металась и вскрикивали неузнаваемо озаренные, точно сквозящие фигуры, выплясывающие возле огня какой-то стройный танец. Там огонь тем был страшен, что он выфукивал из-под крыши длинными яркими языками, заставляя людей, и правда, как в танце, отступать и снова наступать: «А мы просо сеяли, сеяли... А мы просо вытопчем, вытопчем».

Но набегало уже и начальство. Рядом с начальником участка посреди двора размахивал руками и все тыкал ими куда-то в сторону поселка главный инженер леспромхоза Козельцов. Борис Тимофеевич, слушая и не слушая его, подавал кому-то знаки, которые могли означать только одно: еще, еще... И вдруг, увидев прущий во двор трактор, кинулся ему навстречу.

Народу было густо, сбежался едва не весь поселок, но не нашлось, похоже, пока никого, кто сумел бы организовать его в одну разумную твердую силу, способную остановить огонь.

Избы и дома поселка, далеко осянные заревом, по которым оно ходило с пугающим смотром, боязливо вжимались в землю. Иван Петрович, примериваясь, далеко ли, отыскал глазами крышу своей избенки и вспомнил: багор, который мог бы здесь пригодиться, лежит на сенцах, он сам два дня назад, когда вытаял снег, затолкал его туда.

4

Неуютный и неопрятный, и не городского и не деревенского, а бивуачного типа был этот поселок, словно кочевали с места на место, остановились переждать непогоду и отдохнуть, да так и застряли. Но застряли в ожидании – когда же последует команда двигаться дальше, и потому – не пуская глубоко корни, не охорашиваясь и не обустриваясь с прицелом на детей и внуков, а лишь бы лето перелетовать, а потом и зиму перезимовать. Дети между тем рождались, вырастали и сами к этой поре заводили детей, рядом с живым становищем разрослось и другое, в которое откочевали навеки, а это – все как остановка, все как временное пристанище, откуда не сегодня-завтра сниматься. И, слыша по ночам работу электростанции, круглосуточно постукивающей машины, чудилось Ивану Петровичу, что это поселок, не глуша мотора, держит себя в постоянной готовности.

В поссовете висела схема поселка: прямые улицы, детсад, школа, почта, контора леспромхоза и контора лесхоза, клуб, магазины, гараж, водоканал, пекарня – все, что полагается для нормальной жизни, все, как у людей. Улицы действительно были прямые и широкие, в свое время линию, по которой выстраивались избы, соблюдали строго. Но в том и остался весь порядок: эти широкие не по-деревенски улицы разбиты были тяжелой техникой до какого-то неземного беспорядка, летом лесовозы и трактора намешивали на них в ненастье грязь до черно-сметанной пены, которая тяжелыми волнами расходилась на стороны и волнами потом засыхала, превращаясь в каменные гряды, а для стариков – в неодолимые горы. Каждый год поссовет собирал по рублю со двора на тротуары, каждый год их настилали, но наступала весна, когда надо подвозить дрова, и от тротуаров, по которым волочили и на которые накатывали кряжи, оставались одни щепки. За лето наготовить новые не удосуживались, летом всем не до того, «тротуарная» бригада выходила под зиму, в девственно новом и редко тронутым чьим шагом виде лежали они три-четыре месяца под снегом до февраля, до марта – и опять бессмысленно гибли под гусеницами тракторов и тяжестью неразделанного леса. А часто на них, на остатках этих тротуарчиков в три доски, его и разделявали – и пилили, и кололи. И никакие ни указы, ни наказания не помогали.

И голо, вызывающе открыто, слепо и стыло стоял поселок: редко в каком палисаднике теплила душу и глаз березка или рябинка. Те же самые люди, которые в своих старых деревнях, откуда они сюда съехались, и жизни не могли представить себе без зелени под окнами, здесь и палисадники не выставляли. И улица редела и смотрела в стекла без всякой запинки. И тоже никакие постановления об озеленении толку не давали. Или уж верно: вырубая каждый год сотни гектаров тайги, распаивая налево и направо огромные просторы, не с руки и не с души прикрываться кустом черемухи от сквозного ветра и сквозного вида. Чем живем...

Одно слово: леспромхоз – промышленные заготовки леса. Этим многое из непорядка и неурядства в устройстве и объяснялось. Лес вырубать – не хлеб сеять, когда одни и те же работы и заботы из сезона в сезон повторяются, и сколько ни живи, все будет для хлебоборобного дела мало. А лес выбрали – до нового десятилетия и десятилетия лет. Выбирают же его при нынешней технике в годы. А потом что? А потом собирайся и кочуй. Оставив домишки, стайки и баньки, оставив могилы с отцами и матерями и собственные прожитые лета, на лесовозах и тракторах туда, где он еще остался. А там начинай все сызнова. Проплывая летом по воде и проезжая зимой по льду мимо Березовки, Иван Петрович всякий раз с невольной тоской и растерянностью смотрел в ее сторону, на заколоченные и оставленные избы: стоял вот так же леспромхоз, отработал и ушел – и ни одной живой души в покинутом поселке, лишь осатаневшие туристы, пуская дым в двери, разжигают в домах костры.

Та же судьба рано или поздно ждала и их. Ее, как могли, оттягивали, но не бесконечно же... Свою древесину – со своих наделов они сняли еще семь лет назад. Отвели участок за

Ангарой. Через пять лет, что только можно было, выбрали и там. После этого вплотную встал вопрос: быть или не быть поселку? Решали в районе, в области, в управлении и вырешили – быть. Снова пошли по своим старым наделам, по вырубкам, но если прежде брали только деловую древесину, только сосну и лиственницу (было время – травили березу и осину ядохимикатами, чтоб не засоряли леса), то теперь вычищали под гребенку. И техника пошла такая, что никакого подростка после себя не оставит. Тот же самовал, чтобы подобраться к кубатуристой лесине, вытопчет и выдавит вокруг все подчистую.

И этой работы «под гребенку» хватит года на три, на четыре. А дальше? А дальше, говорят, как на отхожий промысел в старину, будут уезжать бригады за десятки километров на долгие смены и, отработав, навевываться домой на отдых. Производственную и домашнюю жизнь разделят на вахты: неделю ты принадлежишь леспромхозу и неделю – семье. Строго по графику. Никаких взаимопроникновений, как ныне, одной жизни в другую.

И быть тому.

Да и как не быть, если другого дела здесь нет. Поля и луга, которыми когда-то жил народ, со строительством гидростанции затопили – и остались леса.

И вот на схеме в поссовете клуб, а клуб этот уже двадцать лет размещается в общественной бане, вывезенной из одного из старых поселков. Надо бы строить новый, но как строить, если наперед до самого последнего времени ничего не было видно. На схеме – детсад, а он не действует: неизвестно было, стоит или не стоит его ремонтировать. И стало известно – не торопятся. За эти планы никто ни с кого не спрашивает.

И как тут выглядеть поселку красивым – да еще в зареве пожара?!

5

Иван Петрович спрыгнул вниз и побежал к тому месту, где он только что видел начальника участка. С Борисом Тимофеичем пять дней назад они разругались вдрызг, когда начальник участка отказался подписывать его заявление об увольнении, но Иван Петрович знал, что если и может кто сделать тут теперь что-то, так это лишь он, начальник участка. Ни главный инженер, взятый полгода назад из соседнего леспромхоза с должности инженера по технике безопасности, ни директор леспромхоза, окажись он здесь (но его не было, он уехал на совещание), ни его заместители – никто, кроме Бориса Тимофеича, иссволовичшегося на этой работе, горячего пожилого человека, считающего оставшиеся до пенсии дни. Мало с кем жил он в ладах, как и с ним мало кто ладил, бегал злой, мог без разбору накричать, без разбору же мог похвалить кого попадя, но все это было в нем как дымовая завеса, которая сбивала с толку лишь новичков, не знающих хорошо Бориса Тимофеича. А кто знал, тот на минутные несправедливости и крики его не очень обращал внимание, помня, что Борис Тимофеич Водников – мужик свой, внутри себя твердо разбирающийся, кто есть кто и что есть почему, и дело свое по возможности правящий как следует. С первого дня, только построился поселок, был он, не прибавляя и не убавляя в должности, начальником участка, и уже одно это о нем, человеке, далеко не высшего образования, говорит, что без него обойтись не могли. А управляться с центральным участком, на глазах леспромхозовского руководства, которое во все встречается и ни в чем себе не отказывает, ох как непросто!..

Иван Петрович видел, что, завернув трактор с нетрезвым трактористом, Борис Тимофеич пошел к куче посреди двора, куда стаскивали спасенное от огня добро из складов. Но теперь его там не было. Иван Петрович тупо смотрел на кучу: широко разбросанные валенки, словно второпях поскидывали их те, кто прибежал на пожар, школьные портфели и связанная тюками школьная форма, шерстяные платки, ватные брюки, коробки с чем-то, чуть поодаль – наваленные друг на друга мотоциклы «Ява» и действительно «Урал» с обгоревшей люлькой. Да, спросят мужики с начальника ОРСа за этот «Урал», крику будет. Что вообще будет с начальником ОРСа после пожара? И, ничуть не сомневаясь, Иван Петрович вскользь усмехнулся своей наивности: выкрутится. Эти нигде не пропадут, им любое море по колено.

– Иван! Иван! – услышал он вдруг голос Алены. Она подбежала с коробками в охапке, подбежала бегом, но коробки опустила на землю осторожно, выбирая, где почище и посуше. – Иван, это че ж делается-то, а?! – голос ее был возбужден и поднят до какой-то запальчивой веселости, неестественно округленные, ошалевшие глаза казались дикими. – Этак все сгорит! А там чего только нет! Мы почему, Иван, такие-то?!

И, не дожидаясь ответа, он и не нужен ей был, развернулась и, мелконокко, немолодо переваливаясь с боку на бок, словно сосупаясь с каждого шага и на каждом следующем шаге быстро подхватываясь, заторопилась обратно. Иван Петрович с минутным вниманием посмотрел ей вслед, но настолько все смешалось в голове, настолько шарики зашли в нем за ролики, что он чуть было не подумал: «Кто это? знакомая какая-то!» – но успел оборвать себя, заставил себя узнать Алену, заметить, что не надо бы бабе носиться как угорелой, и тут же забыл о ней.

Он увидел Бориса Тимофеича. Но прежде услышал, как тот кричит, и по крику отыскал его в освещенной и странно, почти неподвижно застывшей толпе возле первого от угла продовольственного склада. К подскакивающему то и дело голосу начальника привыкли, но это был крик сумасшедший и потому неразборчивый. По ответу, отчетливому, хоть и тоже на паре – всех разогрел огонь, – Иван Петрович понял, что перед начальником Валя-кладовщица.

– Не буду! – запальчиво отвечала она. – Тушите. А открывать не буду.

– Сгори-и-ит! – мать-перемать.

– Тушите. Я маленькая, что ли, не вижу, что ли, как тащат у Клавки! Все тащат. А у меня там больше чем на сто тысяч. Я где их потом брать буду?! Где?! Где?!

– Сгори-ит! – надрывался начальник.

– Тушите. А открывать, чтоб растащили, я не обязана. Тушите.

Она зарыдала.

Иван Петрович кинулся было к начальнику, но тот сам повернул к нему. Не к нему, а к вороху из промтоварных складов, возле которого по-прежнему кружил Иван Петрович. За начальником, предчувствуя приказание, держалось несколько фигур из архаровцев, как называли в поселке бригаду оргнабора. И верно, не дойдя до вороха шагов пять, Борис Тимофеич крикнул, не оборачиваясь, зная, что его услышат и поймут:

– Ломайте!

Архаровцы кинулись обратно: эта работенка была по ним.

– Где Качаев? – в сторону Ивана Петровича закричал Водников. – Какого черта-дьявола?! – мать-перемать. – Это его склады. Где его носит?!

Качаев – начальник ОРСа. Борис Тимофеич лучше любого другого знал, что Качаев два дня назад вместе с директором леспромхоза уехал в город на очередное заседание. Да, растерялся и он, Борис Тимофеич, иначе не кидался бы с горлом да с кулаками на тень. И растеряешься, себя не сыщешь, не то что Качаева: такого еще не бывало.

И, взглянув на его черное и сухое, как обожженное, лицо с сильно обострившимся носом и вжатыми внутрь щеками, Иван Петрович напрочь забыл, зачем ему нужен был начальник участка, для чего он его разыскивал, и сказал то, что требовалось сейчас прежде всего:

– Ты, Тимофеич, поставь дядю Мишу Хампо в воротах. И сторож пускай встанет, это его дело. Но Хампо обязательно. Он здесь. Я его только что вон там, справа, видал.

Водников кинулся в ту сторону, куда показал Иван Петрович, даже не обернувшись к нему, даже и не поняв, быть может, что действует он по совету, а не по собственному решению. Иван Петрович видел, как он отыскал Хампо и, на ходу объясняя, что от того требуется, торопливо повел его к воротам. Дядя Миша Хампо с высоким запрокидом и низким поклонном размашисто закивал в ответ крупной седой головой, уже вглядываясь в толпу возле огня и отмечая людей, за которыми потребуется особый надзор. Конечно, там дядя Миша будет на своем месте, на Хампо положиться можно. Валя-кладовщица знает, что говорит. А сейчас, когда откроют продовольственные склады...

И точно – со скрежетом загремели выдираемые засовы, отчаянно запричитала Валя, совершенно обезумевшая от свалившейся беды, не видящая спасения ни в чем – ни в том, разумеется, чтобы ее хозяйство сгорело под замками, ни в том, чтобы оно было вынесено. Открыли одни двери, другие, с третьих, где засов не поддавался, сбивали огромный замок топором. Архаровцы действовали быстро и ловко – будто всю жизнь только тем и занимались, что ломали запоры. Иван Петрович, подбегая, столкнулся в распахнутых дверях крайнего правого помещения с одним из них, с Сашкой Девятым (Девятый фамилия, а не прозвище, у архаровцев, у которых все вверх ногами, и людские фамилии через одну), и Сашка, веселый, вдохновенно распаренный, хлопнул его с хитрым подвертом по плечу, так что Ивана Петровича на ходу развернуло к нему, и лихо, почти дружелюбно прокричал прямо в лицо:

– Не сюда. Не сюда, гражданин законник. Сгоришь – кто нам будет права качать?!

Они, познавшие режимную жизнь или подражавшие тем, кто познал ее, звали его гражданином законником. Он и к этому привык. Время, что ли, такое: ко всякому приходится привыкать, о чем еще недавно нельзя было и помыслить.

К тому, например, что и сама земля уходит из-под ног. Как это в буквальном виде случилось у них и с ними.

6

Двадцать лет сошло, как переехали, двадцать да еще и с гаком, должно быть, сама земля успела накрениться в ту сторону, куда их протянуло, но и дня единого не проходило, чтобы не вспоминал Иван Петрович свою старую деревню. Вспоминал всякий раз, когда вольно или невольно бросал взгляд на воду, под которой осталось нагретое деревней за три столетия место. Вспоминал и мимолетно, кивнув, как поздоровавшись, на ходу в ее сторону, и в тяжелых и частых раздумьях вспоминал, пытаясь в сравнение понять, что это, что за жизнь была там и к чему пришли здесь.

Он и фамилию носил ту же, что была частью деревни и выносом из нее, Егоров. Егоров из Егоровки. Вернее, Егоров в Егоровке. Из деревни своей он выезжал надолго только однажды – в войну. Два года воевал и год еще после победы по холостяцкому своему положению держал оборону в той же Германии, куда завезла его в танке Т-34 судьба. Воротился домой осенью 46-го. До сих пор живо в нем чувство, с каким увидел он тогда после разлуки свою Егоровку: господи, да она же не стоит, она лежит! – до того невзрачной и обделенной она показалась. На что только не нагляделся за войну – и на несчастья, и на бедность, и на поруху, все кругом вопило от страданий и молило о помощи, много что было переворочено и обезображено, но даже в самых пугающих разрушениях просматривалась надежда: дайте время, дайте руки – оживет и отстроится, человек не потерпит разора. Здесь же все оставалось и словно навсегда остановилось без перемен. Ничего не убавилось, но ничего и не прибавилось, и как бы даже не положено, чтоб прибавлялось. Так оно впоследствии и вышло: и еще пятнадцать лет прожили после войны, но как была скроена Егоровка о сорока дворах, с тем и осталась, и ни баньки, ни стайки к разношенному больше не подшилось. Правда, и о затоплении знали загодя, а тут уж не до новостроек, тут уж ноги в руки и гляди, куда править, – то ли со своей избенкой на гору, где брали грибы, то ли вслед за дочерью или сыном в заманчивый город.

Тогда, после демобилизации, бравый сержант в шлеме танкиста, отмеченный наградами и повидавший виды, отгуляв встречу, помнится, затосковал. Родина-то родина, что и говорить, тут каждый камень еще до твоего рождения предчувствовал и ждал тебя и тут каждая травка по новой весне несет тебе что-то в остережение или поддержку от былых времен, тут везде и во всем за тобой тихий родовой догляд. Но как представишь: все то же, все то же, все то же... как представишь, да еще на первых порах, и будто пришел с войны помирать своей смертью.

Но в раздумьях и неуверенности он замешкался, а это значило сделать выбор в пользу Егоровки. Вскоре подоспел голод, спастись от которого легче было все-таки здесь, возле Ангары и тайги, вскоре разглядел он в соседней деревне Алену, которая так неумело и бесхитростно тарасила на него свои и без того огромные зенки и так испугалась, когда он впервые взял ее под руку, что он не стал больше никого искать. Вскоре получил колхоз новую машину, за которую и посадить оказалось некого, кроме него, вскоре в тяжелой и долгой немочи слегла мать, и уж сама судьбина встала поперек его выездной дороги. И пошло-поехало как у всех: дети, работа, медленный и осторожный сворот на жизнь полегче и повеселей.

Иван Петрович не то чтобы свыкся, но словно бы от лукавого, набранного на стороне и тянувшего, тянувшего куда-то под неясное обещание, словно бы освободился от него и вздохнул с облегчением. Везде хорошо, где нас нет. В жизни, быть может, самое важное: каждому на своем заданном месте держаться правильного направления, а не кривить без пути и не завязывать его в узлы неопределенно-искательными перебежками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.